

# 1. ПЯТЬ КЕДРОВ

Жили-были пять братьев. Пять братьев — пять пальцев. Пять братьев — пять кедров. У кедров статья крупная, мясистая: и иголки, и ветки, и шишки — налитые, с запасом и щедростью слаженные. Но если кедр хрупковат и уступает по гибкости и крепости ёлке и лиственнице, то братьев не сломать, не угнуть. Не зря и фамилия у них старинная — Долговы, и идут они от Аввакумовского смоляного корня. Самый младший Фёдор, но о нём напослед.

За Фёдором по старшинству Нефёд. Вроде как не-Фёдор, почему — потом поймёте. В Нефёде кедровая статья самая сильная, он хоть и не столь рослый, как Федя, но крепко и крупно нарублен. Густой замес. У волос, бороды двухвостой, усищ нависающих — ость толстая, обильная, масть темно-каштановая в рыжину. Глаза карие и веки особенно крупны и в карих точечках — будто йод со смолой навели и кедровой кистью покропили для верности. Для подтверждения плодородия его глинно-чернозёмной стати. Всё подходит для сравнения — и смола, и чернозём... Или конский ряд: как

у коня — грива темной тулова, борода темной волос. Постав глаз широкий, и сам Нефёд квадратный, коротконогий, кормастый. Но дело скорее в стати душевной — Нефёд полняком помешанный на корабельном деле. Живёт на боковой речке, и там у него верфишка своя. Заказывает листовое железо, сам режет, кроит, сам варит тридцатитонные баржонки, на которые ставит дизеля, всё рассчитывает, водомёт ли, винт, редуктор. Устройство одно: головастая рубка спереди, а за ней грузовой отсек длиннющий до самой кормы. Забран жестяным в волну навесом, подвижным, в виде “П” в разрезе. Навес ниже рубки, но выше палубы — тоже участвует в силуэте. Нефёд делает на заказ, на продажу. В рубке малиновые диван и обшивка, японские сиденья и руль — хоть кожа. И мотор любой. Как карман позволит. Железо берёт с завода. Раньше староверы везли почему-то железо гофрированное, как шифер, видимо, какой-то канал подешевле был. И шли баржонки с грубо сваренным шиферным носом, который угловато стыковался с шиферными же бортами, и корпус был в ломаную линию. Теперь металл пугливый, гладкий, загнут породисто в скулах и отделка под самый рояль-салон.

У Нефёда баржа, и он на ней возит по Енисею горячее, а зимой ещё и на бензовозе по зимнику работает. Дорожная душа.

Следующий брат Гурьян — тот промысловик. Ни о чём не может говорить — только о тайге и о промысле: “Это моё. Мне как осень — уже в тайгу на-а... Оно в крови”. Завод у него доскональнейший, и кулёмник (а был и плащик), и капканы на земле, на жерди. И обязательно очепы — жердь наподобие журавля, которая вздёргивает капкан с добычей, чтоб росомеха с лисой не схрямкали. Но если у капкана на полу очеп не редкость, то очеп на жердушках, прибитых к дереву, — только у Гурьяна. Спросите, как на такой высоте очеп ладил? Не поверите — таскал по путикам лесенку. В тайгу задолго до снега попадал.

На вид Гурьян — с того же лекала, что и Нефёд, но поровней, посветлей, и настой смолы пожиже, попривычней. Поначалу не знающие близко — путают братьев. Но даже, когда разберёшься, странно. Бывает, увидит человек впервой Гурьяна, а потом где-нибудь встретит и вздрогнет: идёт вроде Гурьян, да только какой-то густой, набрякший, дико расширившийся, потемневший, и недоумение: то ли сам плохо запомнил — невнимательный, то ли с Гурьяном что-то стряслось — пчёлы покусали или отъелся и в дёгте измазался. Дивисься, вроде уже видел черты, а тут они выперли, сгустились, укрупились. Будто два живописца один образ писали — каждый по-своему, один покусился, другой пощёдрился. “Здорово, Гурьян!” Молчит. Оказывается — Нефёд.

Промышляет Гурьян с сыновьями. Те тоже, Гурьян да не Гурьян, пачка копий. Вроде отец, только поуже, и лица посвежей-порозовой, и бородки помшистей. А вообще по портрету Гурьян самый канонический, знакомый: прямое скуластое лицо, брови белые, борода русая, ость витая, крепкая, верхний слой светлей. Глаза серые.

Следующий брат — Иван. Тому к шестидесяти, черты Долговские, но только подсушенный, подсугуненный, зубы с проредью, борода поклочковатей, серо-русовая с сединой. Иван — крестьянин. Живёт по реке к югу, где заливные луга. Взял землю, держит скот — коров, бычков, ставит сена горы и поставляет дельцам и частникам молоко, сметану, творог, мясо. Пчёл держит. В движениях порывистый по-мальчишески. Исушенный покосным солнцем, прокопчённый дымокурами, измождённый страдой, переживаниями... (То пресс-подборщик верёвку рвёт, то завидуящее бичьё нетель отравили, то ещё что-то...) Но влюблённый в землю, как и положено русскому крестьянину. Он хоть и как пол-Нефёда повдоль, а зато сыновей у него семеро. Все помощники. Осенью на луговине стын, свиное небо с запада, ветер с каплями... И вдруг солнышко боковое... И тюки, ярко освещённые — как рулеты лежат. И Иван в белой почти энцефалитке шурится от солнца и кричит сыну, который на тракторе на гребь едет: “На кули-и-гу езжай! На кулигу! Там сперва вороши!”

Дальше брат Григорий идёт. Тому к семидесяти, бельгий, неспешный, и лет восемь живёт в старообрядческом монастыре за Дубчесом. Как зачарованно

говорит про него в деревьях не сильно сведущие в вере: “На чистую вышел”. Человек уважаемый, в монастыре “наставничат”.

Для усвоения материала можно запомнить так: по светлению масти и сходу кряжеватости — Нефёд-корабельщик, Гурьян-охотник, Иван-крестьянин, Григорий-наставник. С Григория, правда, снова на крепость идёт.

Четырёх братьев назвал, а пятого не только не забыл, а на самый рассказ и оставил. Фёдор. Самый молодой, самый статный. Широкое розовое лицо, так же фамильная бородаща, только совсем уже лопатой широченной двукрылой, усы старинно-армейские, в сторону торчат остроконечно, как прокляенные. Глаза синие. Бровь тёмная.

По виду должен вобрать самое могучее и лучшее Долговское. А на самом деле настолько другой, что семью смело можно поделить на две кости: Братовья и Фёдор. Помимо верности вере братовьёв объединяет страсть к любимому делу. А Фёдору не дал Бог кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работающий мужик, но ничего ему не интересно, кроме денег: будет соболь в цене — на тайгу все силы бросит, рыба подлетит — в рыбалку уйдёт, скажут: извоз в цене — груза возить будет, а сварочные работы — в сварщики подается. И главное какое ни будь дело, а видно разницу меж Фёдором и тем, для кого дело — единственное. Вроде и впрягается Фёдор — а всё не с головой. Не безоглядно.

Соберутся Братовья, о работе говорят, кто какой корабль сварил, зимовьё срубил, грабли освоил. А у Фёдора оно: “А сколь стоит? Сколь заработал? Сколь платят?” Жёны уже смеются. У автора сих строк даже раз спросил: “По сколь нынче рассказы отходят?” И ещё удивлённо и строго покосился, по-беркутячи — брови тёмные... Мол, мало чо-то, врешь поди: “Да ну-у-у... Не поверю... Прибедняшься”. И с таким видом, что сам бы занялся, если чо. А Иванова жена, язва: “Слышь, Федя. В городе нынче комара сушёного принимают: по пять тыш за килю. Вон Ульян Угренёнов на машину насадал, “крузера”.

Нахмурится, наклонит голову, глянет из-под брови орлино и допросит: как звать “приёмшыка”, какой номер телефона, на чём ездит. Потом и сам засмеётся, но так, в пол-улыбки, и о своём нахмурится. Ехали с ним на автобусе в город — все заправки изгладел: здесь девяносто второй столько-то стоит, здесь меньше, солярка столько-то, там столько-то.

Братовья и быются за заработок, но не так как-то. К примеру, понятно, что ловушками охват больше, и собаки от настроения отвлекают, но Гурьян скажет: “Да я себе не представляю, как вот с собачкой не побегать по осени!”

Федя норовил ввязаться в дело, пусть и скользковатое, но сулящее барыш. Узнал, что на одной речке лежит ёмкость пятнадцатикубовая от солярки на берегу — наследство от экспедиции. Нефёду железо нужно, Федя и говорит:

— Железо тебе устрою недорого, ты подъезь на своей “лайбе” на такую-то речку к такому-то месту, загрузим тебе железа.

— Отколь? Как?

— Да так — ёмкость.

— Дак это ж Степана Густомесова участок, он поди на неё виды имет.

— Да не, я договорился с ним.

Помощников нанял парней. Взяли болгарки, генератор, поехали, распилили ёмкость, загрузили на Нефёда. А потом столько позора было! И Степан, и все мужики с той речки — видеть не хотели никого из Долговских, “росомах этих”. Густомесовы и Большаковы с тех пор, завидя любую похожую посудину, выскакивали на берег и орали лихоматом, кажа кулаки. Степан эту ёмкость собирался утащить вездеходом и оборудовать под избу, утеплив снутри и врезав дверь на болтах от медведя.

История с ёмкостью не остудила Фёдора. По складу он был рыскающий, как соболь, напористо заводил знакомства, и к людям относился с точки поживы. Тянулся к успевающим, состоятельным, аккуратно записывал телефоны. Первым из братьев карманный телефон завёл. Всё совал в карман энцефалитки, нагнётся к лодке за верёвкой — и тот бульк из кармана в воду.

“Два штуки утопил”, пока не научился с “имя обращаться”. Звонил. Поддерживал знакомства, снабжал рыбой, не спрашивая. Как по разнарядке.

Эффектный. Приезжие, особенно журналисты или москвичи, рывущие смысла, на него клевали, и он в отличие от остальных собратьев-старообрядцев не сторонился, а в гости приглашал и проявлял “угостительность”. Водка не разрешалась, поэтому угощал брагой и резчайшим домашним пивом, подымая кружку с богатырским: “Держите!” Не “давайте!” непонятное, а именно “Держите!” Это “держите” особо нравилось заезжим, они его потом сами повторяли, оно было как слоёное: и кружку, и удар держи — не хмельей. Журналистка “с Москвы”: “А вы слышали, что новозыбковцы ведут переговоры с часовенными?” Фёдор: “Не слышали. Держите! Как бражка?” — “Хороша!” — “Вот и отец наш говорил: хороша бражка да мала чашка!” Конечно, и фотографировался с гостями. И даже одна его фотография висела в городе на щите на Металлургов с надписью “Сибирь — территория силы”. Орлино глядя вдаль, Фёдор ехал на моторе на фоне скал, и ветер развевал, забрасывал набок огромную его бороду. Авторы плаката повернули фотографию наизнанку для пущей композиции с округой, и выходило, что Фёдор левша и “под ево” специальный мотор собрали: рукоять газа торчала не с той стороны. Наподобие как излаживают под левшу гитару или скрипку.

Федя, в отличие от братьевъёв, к вере предков относился расслабленно, за что и имел серьёзные с ними беседы. Дошло, что когда те собирались, за свой стол не садили, а ставили гостевой буквой “Т” к ихнему. Там Федя и сидел вместе с гостями. Как мирской. А упрекали за излишнюю рыскливость: “Из-за таких, как ты, нас “мохнорылыми” зовут, — возмущённо выговаривал промысловый Гурьян, — ты маленько за ум-то берись. А то по тебе и о нас судят”.

Хотя при городских Федя, наоборот, форсил, и подыгрывал, и про “нашу веру старинную” вещал именно то, что хотели слышать. И сам в свои слова верил, и бывало мог расчувствоваться, особенно если много “держать” доводилось.

Но больше было будней.

Слышал Федя о растаскивании буровых “апосля пучи” в конце века. Сам однажды осенью в тайге замороженно глядел, как пёр “ми-двадцать шестой” огромную запчасть от буровой, двигатель вроде, и как неделю гремели с востока, ещё что-то тащили воздухом, штанги какие-то, и как накатывало возмущение и как обсуждал с мужиками по рации. Потом разговор надолго затих, и вдруг кто-то из дельцов заговорил про брошенные в тайге буровые, мол, заплачу за разведку огромно, и Фёдор взялся разузнать. Нашёл экспедишника, бурового мастера Трошу, обурившего пол-Эвенкии и знавшего все точки.

Буровые находились далеко на северо-востоке. Поехали весной по большой воде на здоровенной резинке с водомётом, взяв в долго и её хозяйина, поселкового коммерсанта. Пришлось припрячь Нефёда — чтобы на барже завёз горючку и их самих по большому притоку до устья речушки, по которой уже карабкались на резинке с водомётом. По берегам чахлый листвячок. Река горная, течёт меж тундряков и сопок, и то совсем узко и ровно, то вдруг голый скальный бугор подденет русло округлым сливищем, так что забрались с третьего раза, а двоим пришлось вылезти и пройти по берегу. Ехали долго, останавливались на каждом “вроде том” с Тронькиных слов месте, и поднимались на берег, где тянулась голая чавкающая тундра с чахлыми листвяшками. Всё нежно-зелёное. Жёлто-светящееся. За тундрой вставали голые квадратные горы, лилово-синие с плешинами снега.

Находили остатки балков. Полусгнивший барак, истончившиеся пепельные доски в лишайнике, изъеденный чуть не в порошок алюминиевый умывальник. Всё нещадно пережёванное тайгой... Что-то трушное было в этих тонущих в сырости останках, будто они не рассыпались постепенно, а разово были захвачены каким-то слепящим ударом.

Зеленые развалившиеся батареи, ящик с огромным количеством Ш-образных металлических пластин, каких-то конденсаторов будто, вроде бы и ценных на вид, а бесполезных. Сгнившие ящики с кернами. Куча снега,

студёно и роскошно фонаisce стужей на фоне яркого и тёплого солнца. Бродили, им моримые, в привычной уже полусонности среди останков того, что когда-то было сегодняшним, бодро-трудоым и важным, а теперь неумолимой сырью, как кислотой, съедалось и поглощалось тайгой. Дерево, и железо, и даже пластик — всё уходило, кренясь, рушась и растворяясь.

Пнув ржавую бочку на утоптанной моховой площадке, навек пропитанной солярой, Троня говорил: “Не, эт не то — это от шнадцатой остатки. Надо выше (или ниже) искать”.

Возвращались на реку, поднимались с Нefёдом до следующего притока, какой-нибудь Эмбенчи или Дёлингды, и начинали всё сначала. Понимали, что хотя буровые и ничьи вроде, но никто не лезет с такими затеями, и чуяли скользкость. И будто для скраса каждый взял водки, и даже Фёдор, хотя по ему как старообрядцу по закону разрешалась только брага и домашнее пиво. И вот ленки здоровенные на пенистом устье Эмбенчей, жгучая водка, сплющенный накось кирпич хлеба, который Пронька отрезал на себя, прижав к груди, толсто и неровно. Луковица, малосольный ленок. Студёная вода из кружки. Белая ночь, такая холодная, что аж колотун берёт. Красные баллоны лодки в густой испарине, дрожь в теле. Густейший туман в повороте. Нежная хвоя лиственниц. И снова подъём по речке, и вот уже паркое солнце свозь бус тумана, и усталость, и “поспать бы”, но времени нет. И снова по стопке и вроде чуть подоудтели, и снова восторженные возгласы. Эх, какая речка! Какая красота! И снова брождения по чавкающим тундряками, по пружинистому ернику. И снова мчание по порогам. И Тронькино: “Давай здесь!”

В росистой ярко-зелёной утренней стихии туман сеется, птички поют родниково и первозданно в кустах. Крупный первый комар пропищал. Высокий крутой берег и в густых тальниках полузросшая тропинка, только ноги чувт. Литры росы на штанах, и подъём по тропинке, которая уже и не тропинка, а ржавый ручеёк, проложивший руслице. И вот — плоская вершина яра — разлётная даль с тундряком и синими горами — если смотреть за реку, на восток. А если от речки: огромная страшная ржавая буровая, забранная понизу выгнутыми пепельными досками. И будто одушевлённая и в грозной обиде за свою ржавость. И словно инопланетная.

И запчасти — врастающие в напитанную влагой землю, в мерзлоту, на которой в ямках стоит вода, и угол балка, и фуфайка растерзанная со светлым нутром, бутылка, саног. Разбросанные, углами уходящие в грунт двушквивники, какие-то фланцы, кожуха, ржавые с остатками краски — какой-то тёмно-розовой. Огромные, похожие на раковины половинки блоков со шпильками и круговыми отверстиями. Двигатель, ржавый до горячей красноты.

Коммерсант, хозяин лодки, давно уже никуда не поднимался, рыбачил себе вдоль берега. Писали список, фотографировали, припили остатки водки. Шарились потные. Считали роторы, насосы. Троня всё бубнил про двушквивники — лебёдки. Говорил:

— Пиши! Насос эскабэ-четыре — два штуки. Колодки. Кернорватели. Огловник штанг. Коронки. Баба забивная. Должна быть. Её нет. Нет, пиши, бабы. Промывочный насос эмбэвэ-сто двадцать. Так, шпindelь где? Пиши: нет шпindelя. Ну чо, всё? Наливай.

Наслушался буровых словечек и Федя:

— Держи, Троха. За ход шпindelя.

— Давай! А я смотрю, ты хоть и старовер, а водку глыкаешь. Смотри, твои узнают — быстро тебя на шпindelь возьмут, хе-хе. Держи...

В минуты передыха за бутылкой Тронька целыми главами рассказывал экспедиционную жизнь, анекдоты про разных чудаков, а всё больше страсти вокруг поварихи, у которой Троня был в особом почёте (следовали подробности). И как на него набросился пьяный помбура и пёр не остановить. Опешивший Троня “размесил” ему губу, но тот продолжал переть, а Троня, когда “хватунул крови”, озверел и “убуцкал” бузотёра. Об этом “хватунул крови” он сказал с особой силой, как о проявлении какого-то закона, почти с восхищением, как зачарованно говорят о чём-то таинственном, неведомом, природном. Выходило, что и человеиче, и звериное поровну царили в мире, и что

даже красота была в таком пейзаже и обе стороны завораживала. Коммерсант одобрительно усмехался. Троня рассказал, как помбур в итоге женился на поварихе и дошли слухи, что лупит её, а коммерсант подтвердил, что за просто такое, и что “всё теперь”, он это дело “раскусил”, и все засмеялись, потому что он сказал, как про медведя, который повадился драть скота и его теперь не отвадишь.

У Фёдора родовая память о благочестии сидела внутри, не спрашивая разрешения, и при таких разговорах всё внутри противилось, но он подлыбывался и терпел. А куда деваться? Бывало и брат Гурьян, живший в отдельной староверской деревне, приезжал к ним в посёлок и тоже сталкивался с мирским. Шёл договариваться насчёт трактора вывезти муку на берег. И вот у склада на саях-волокуше сидят трактористы и грузчики — молодые ребята. Грязища дождевая, дрыг вокруг. Все курящие, и полторашка пива идёт по кругу. А обложной привычный мат с такой силой стоит, будто сквернословие, парализовавшее Русь, стало обязательным и настойчивым условием жизни, и требовалось уже и от матерей, и от девушек, и от малышей. И строгий Гурьян тоже пробросил средней силы словечко, да так, что и не сгубить совсем, но и обозначить, что мол, тоже свой, не чистошлой какой-нибудь.

Троня привычно бросал окурки. Вокруг стояла весна в самой первой, нежнейшей зелени листовых иголок, салатových стрел чемерицы по серой полёгшей траве, учёсанной течением. Синих и белых первоцветов, вешающих под светлую полночь мохнатые подзакрытые бошки. Воды, с каждым днём всё более прозрачной и проседающей в каменные берега. И лежали среди моха и льда ржавые карданы, электромоторы и догнивающие фуфайки, и Троня был одной плоти с этим разором и, курая, сквернословил с особым смаком, словно ему доставляло особое удовольствие пытаться Фёдора на староверскую твёрдость.

Нашли ещё две буровые и вернулись к заспанному Нефёду, который ворчал, что вода “падат”, и что сталкивать “пароход” пришлось “два раз”.

Фёдор отослал фотографии и списки знакомцу-дельцу, но то ли состояние “шпинделей” не устроило, то ли ещё что-то, но так ничем и не кончилась затея.

Федя, хоть и удалялся от веры, но как часто бывает у нехристиан, склад имел чуткий к мистике. К своим ощущениям прислушивался, любил рассказывать сны и относился к ним внимательно. И то ли добавилась хмельной загул после неудачи с продажей буровой, тяжкое и беспричинное чувство вины, то ли дело и впрямь было несправедное — но стала во сне являться ржавая буровая, оживающая в грозной своей страхоте и скрежетно ломящаяся в погоню за ним, катящимся с сырой горы по ржавому в синий отлив ручейку.

Стала кошмарным видением, а он не мог понять, отчего, и, ругая дельца, жалел потраченных сил. Бывало, буровая догоняет, бьётся как в неводе сердце Фёдора, и от трепета и сон будто отпустит хватку, и Фёдор закричит в просвет: “Это же сон! Это не по правде!” И всплывая, освобождаясь, продолжает поражаться магии приснившегося: “Ну не может это всё быть “просто так”, ведь что-то за этим же есть!” Больно подробно, убедительно, а главное, сильно всё построено. Понятно, кроме буровой были и другие картины, которые Фёдор всю жизнь помнил. Ещё юному приснилась весной в тайге в избушке девушка с длинным лицом и светлыми волосами. Была она в изумрудно-зеленой майке, какую он никогда не видел. Сильнейшее впечатление, осязаемое, материальное, оно многократно превосходило по силе воздействия виденное наяву. Проснулся замороженный. И всю жизнь вспоминал. Гурьян говорил, что это бесишко искушает.

Но сны Фёдора привлекали, он оказывался в них умнее и тоньше, чем в жизни. Являлись какие-то подробности чьей-то речи, меткие соображения в областях, которых он не касался, и даже фамилии приходили, которых не слыхивал. Будто расписывал роли и писал диалоги кто-то более сведущий, чем он сам. Однажды приснилась фамилия Ачимчилов. Тогда ещё не убрали радио с длинных волн, и лесные мужики были при музыке и известях. Так вот спустя месяц после сна он услышал по радио: “Руслан Ачимчилов одержал победу в тяжёлом весе”...

Фёдор и рад был заработать хоть на чём, но верным оставались лишь рыбалка и охота. Участок его лежал к востоку от брата Гурьяна, ещё дальше от посёлка, но если Гурьян заезжал чуть не в августе, то Фёдор тянул до последнего, сидел в деревне, рыбачил омуля, а потом пробирался в тайгу на снегоходе — дождаввшись, когда “подбелит тундры”. Снега много и не требовалось, и едва подсыпало — трогался по профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробегал участок, подлаживал ловушки, проверял дальние избы на предмет медвежьей диверсии, а потом с удовольствием основал на базе, бороздя на лодке по красавице-речке, добывая рыбу и птицу, и в зиму уходил довольным и подготовленным. И даже вот что отмачивал: до снега пройдёт капкашки и взведёт их, чтоб потом только приваду осталось “повешать”. Избушки, особенно речные, у Гурьяна были сделаны с особой любовью, основательно, аккуратно, чтоб самому приятно. И вокруг чистота — ни бумажки, ни банки.

Фёдор же приезжал по снегу и уезжал, понятно, по снегу. По воде заезжал наскоро дров подпилить до комара и особо не прибирался. Летом вокруг всё так и валялось — банки, которые собаки растаскивали, соболиные тушки. Могла и крыша подтечь. Вся надежда у таких, как Фёдор, на снег да холод — снег присыплет, проложит, холод скует, и всё наладит, заштукатурит, как клей могучий. Мудро знать такую спасительную силу зимы — никаких тебе дожδικов, только крепость и строй. И зачем навес перед избушкой доской внахлёт крыть? Жердей накидал, а снег щели присыпал, залатал — и после хоть завали, на полу ни снежинки. Остальные братья за что ни возьмутся — всё равно дотошно делают, а этот взвешивает затраты, на сорта делит. Что-то обязательно надо, а что-то так, малым дефектом можно пустить.

Этой осенью Фёдор заехал по обыкновению по первой пороше — главное было из деревни выбраться по шевакам — комьям и гребням грязи, в тепло размешанной тракторами и бетонно проколевшей на морозе. По тайге же одолеть требовалось первые километров шестьдесят — дальше шёл подъём в плоскогорье, на лбу которого садились снеговые зёряди, летящие с юго-запада, и снега было — хоть боком катись.

Поначалу сезонничко неплохо пошёл. Фёдор приехал в первую избушку вусмерть уханьканным. Лесин нападало по его дороге, пропиленной в ширину снегохода. Брат-то Гурьян свою паданку с осени пропилил. А Фёдор с грузом, с деревни — ещё не втянувшийся в таёжную лямку, упрел. То и дело слезал, бродил с пилой, раскидывал кряжики. А главное, снега-то немного и прошлогодние пеньки торчат и сильно брыкаются в снегоходную гусеницу. Пружина натяжная мощная стоит, и снегоход переворачивается, выбрасывая седока. И крути его вагой, отцепляй сани, отвязывай выюк на багажнике — а тот широкий, перевешивает.

В общем, приехал в первую избушку. Дверь открыта, как и оставлял, чтоб изба не прела. По воду сходил в бочажину, раздолбил — вода жёлтая, как заварка. Собака Пестря рядом, у входа лижется. Печка щёлкает, из поддувала отсвет рыжий дрожит. Чайник бурлит. Фёдор напился до семи потов и лежит на нарах. Вдруг слышит — кто-то “шебарчит” под нарами, а потом и заворочал: будто через равные промежутки времени шипло выдыхают — такая одышка пунктирная.

Соболь залез в избушку и даже по́жил в ней какое-то время, видать мышей много в ней. А выбежать не отважился — собака за дверью. Фёдор добыл соболя, обрадовался, увидел знак. В тайге кругом знаки видятся.

Соболёк оказался не совсем выходной, *подпал*, мездра на хвосте синяя. (Мездра — это подкожная плёнка, а в обиходе — шкурная кожа с изнанки. У выходного зверька мездра пергаментно белая). И по радици бубнёж: соболю вроде пошёл, но невыходной. И обсуждение: “Останется — не останется”. Выходной — значит сменивший мех на зимний, ценный.

У Фёдора на участке соболю не остался. С собакой Федя поохотился, кое-сколько добыл, но не густо, теперь надежда на ловушки. В ловушки соболю

не идёт, форма полно: шиповник, рябина обливаемая, мышь задавной. (Хоть в фактуру заноси: “Мышь задавной, среднеупитанный”.) “Погоде-е-е, — умудрённо-угрожающе говорил Фёдор обычные в таких случаях слова: — Снег оглубет, морозяки прижмут. Как миленький полезешь”.

Но не лезет. А Фёдор и так не любитель таёжного затвора, когда сам с собой на беседе, а тут и вовсе захандрил. Представлял поселковую жизнь, в миг ставшую желанной. Но не к жене, к сыну прижаться, — он этого не заслужил, а просто — в обстановку, когда не надо один на один с собой быть.

Хотя действительно, обидно, когда столь сил на настройку. А он и капканов доставил. Как раз морозцы поджали, Фёдор жердушки в зимовье готовил — палку размером с полешко выстрогает, цепочку прикрутит, капкан. Даже гвоздь наживит. Пробьёт, чтоб показался. Потом в багажник снегохода — и по путику. Остановился у дерева. Затесал плоскость. Древесина мёрзлая. Загёска рыжая, со слоями, как на стерляжьей тушке грань, от которой пласт строганины отвалили. Только как стекло твёрдая. Топор не цепляется, норовит скользом, со звоном пройти. Ещё и боковиной лезвия шлёпнуть досадно. Но затесал, и аккуратно, точным ударом топорика прибил жердушку. Бывает гвоздь загнётся, по витым окаменевшим слоям косо пойдёт. Сопя, выправит и снова забьёт.

А не ловится соболь, да и мало его. Обычно Федя не особо к молитве обращался, а тут зачастил, идёт по путику и перед каждым капканом “Отче наш”. Приближается к капкану — шорк-шорк на камусных лыжах, — и сердце колотится: вот бы из-за залепленных снегом стволов появился висящий соболь с рыжим горлом, бурый с переливом по краю — такого запоедного цвета, что аж до нутра прострелит. Похожий на бутылку — лапа, за которую попал и на которой висит — как горлышко. Меховая бутылка. Так вот “Отче наш” — и пусто. “Отче наш” и пусто. А бывает выворотень чёрный горелый вертикальным отростком корня обманет. Прошьёт неуправляемо, хоть и знаешь, что здесь нет капкана. И снова шорк-шорк. “Отче наш”. Жердушка прибитая. На стесанном конце стоит капкан прозраченько, напросвет плоско. И привада висит. Чуть качается. Хоть и ветра нет. Зато как радостно, когда помолился, и тут же выплыл из-за заснеженных стволов висящий соболь! Выходит, радовался тайге, только когда ловилось. Тогда и даль озарялась — и контраст между голой омертвевшей тайгой без добычи и далью, кричащей от радости, — был огромен. До ненависти.

У других: у кого слабо, у кого нешлохо. Эфир напряжённый, аж звенит. Речь у всех до предела взвешена, годами отточена. Тех, у кого сносно, аж распирает, но сдерживаются, чтобы не слишком самодовольно выглядеть. А у кого плохо, особенно матери, стараются, не теряя престижу, сказать так, чтоб всё равно в свою пользу повернуть. Опыт, настой перелить в способность оценить картину. Или того лучше — предсказать. Так, с прохладцей говорят, будто не о себе лично, а вообще: “Слабая нынче охота”. Мол, лучше сам оценю и своей манерой, тоном — гордости не уроню.

Для Фёдора сиденье на рации превращалось в муку. Изводясь, ждёт, кто что скажет, даже “Отче наш” читает, чтоб “Перевальный” крикнул “Скальному”: “Да вообще пусто!” или “Да хрен забил он на капканы! Подбежит, покрутится, ещё и кучу навалит, хе-хе. Не-е-е, мужики с такой охотой я не знаю... С тем же успехом в деревне на диване лежал бы. Да там хоть баба под боком”.

— Перевальный Стариковой Курьё!

— На связи, Скальный!

— Ну чо там у тебя? Есть подвижки?

— Да чо-то вроде зашевелилось. Но. — Перевальный сыто причавкнул чем-то вкусным. — Не знаю, как дальше, конечно. Но чо-то есть. Чавк.

— Ну сколь снял?

Тот, помолчав, солидно:

— Ну с двух путиков семь штук. Чавк-чавк.

— Кудряво живёшь. Для этого года это даже... я тебе скажу. Я-то вообще со ста двадцати ловушек два штуки. Главное, обе самочки седьмой цвет.

— А где там Ерачимо? Ерачимо! Чавк! Ты чо там — примёрз что ли?



Отзывать себя неохота. Рассказывать нечего.

— Да на связи. На связи я, Перевальный, — постно-бесцветно отвечает Фёдор.

— Чо, как там у тебя на пушном фронте?

— Да глухо, восьмой день пошёл, я уж забыл как соболя обдирать. — Федя отвечал тоном, не то что обиженным, но каким говорят, когда несправедливость. Мол, не трогайте, не бередите. Не хочу. Но без жалкой ноты, а наоборот — в своей правоте. Смотрите, как чувствую, вижу наскрозь план этот подлый. Главное, не уронить достоинства, сохранить, перенести в область прозорливости, и в ней утвердиться, взять своё, невозмутимое. Показать способность не удивляться, словно главный промысел — добыть эту жизненную жёсткую правду, упредить, слившись с ней, раньше, чем она заест, погубит. Хотя всё равно заедала, но хоть не на людях.

Пестря вдруг стал раздражать. Побежал тут по следу соболя, и спустя час раздался лай, да такой громкий, с заливом, что Фёдор побежал как мальчишка и обнаружил картину: склон увала, спускающийся к тундрочке, на открытом месте (отсюда и доносивость лая) сидит под кривой наклонной кедрой Пестря и лает на глухаря. Называется, “скололся” со следа на менее ценную добычу. Такая досада, что шнур с ненавистью кобеля.

— Да нет никово. Бесполезно. Глухаря, правда, добыл. Аж синий, старый...

Начал на всё грешить. Спрашивают, как птица. Отвечает: “Да есть птица, есть. Только худая”. Спросят, как техника: “Да так-то тьфу-тьфу, только жрёт, как слон”.

Пушнины нет — занятия нет. Вечер. Ни сна, ни дрёмы. Эфир только гудел, но вот все незаметно поутихли, перепрощались, сонно и успокоенно. Тишина, только фон идёт, тикает мерной капелью. Было наладится сон — но чуток не добрал слоя, одна мыслишка проскочила, и тут весь рой ожил, какой тут сон! А спать надо — невыспатым не работа. Сколь там до подъёма? Четыре часа, три с половиной, уже три... Катастрофически на убыль идёт время отдыха, и чем больше думаешь, как уснуть, тем громче бодрость и нервы как лесины на ветру гудят. И книг как назло на базе мало. Божественного не брал с собой, и был всего один журнал “Охота и охотничье хозяйство”. Он его раз двадцать прочитал, особенно литературные страницы, и уже наизусть выучил, хоть и сказками отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные приходили, и Фёдор, бывало, держась на грани сна, направлял, натравливал их на интересное, развлекательное, и они подхватывали, увлекали и он худо-бедно засыпал. Какой охотник не представлял, как обращался в собаку, взявшую след?! И объединив в одном существе и знания, и собачьи нюх и способность нестись по тайге без усталости, в минуты одолев версту, не оказывался у добычи?! Оставалось только выбраться из собачьей шкуры с оружием и добыть соболя.

“Мне бы, да с моими мозгами, — развивал по рации знаменитый балагур “Сопка 66” по кличке “Топоришке”, — такой бы нюх и ноги, я бы пять планов бы делал!” И Федя, лёжа в тревожной полудрёме, представлял, как превратился бы в Пестрю, и вовсю науськивал воображение, чтоб взяло след и увело в самую чащобу сна. Интересней всего, когда нить уже подхвачена кем-то таинственным, а он земным краем сознания ещё отдаёт отчёт в происходящем! Момент потери управления начинался сонной бредятинкой, голосами, будто кто-то переговаривался, но если слишком в упор это отметить, то всё срывалось, и Федя шёл на новый заход. Чем больше было таких погружений-всплываний, тем насыщенней казалось пребывание на нарах и тем сильней была их сила, которая росла, казалось, чем хуже шла добыча.

Обращение в Пестрю не всегда сулило награду — раз соболиный след вывел на прогалину, где громоздилось страшное заснеженное сооружение. Это была мёртвая буровая. Примерно на половине вышки на перекладине сидел здоровенный тёмный соболина. Фёдор выстрелил в него из “тозовки”, и в этот момент, стрясаая снег, заскрежетала промёрзшая громадина, и постепенно набирая ход — железу нагреться надо — ломанулась за Фёдором. Он вроде бы начал уходить, и разрыв был хорошим, но лишь страшней

становилось далёкая лязгающая поступь, потому что точно знал, что догонит. Перед ней и деревья расступались. Просыпался медленно, сам себя вытаскивая — так же раздваиваясь, как при погружении в сон, и убеждая, что всё неправда, мол, не оглядывайся, и всплывай, всплывай. Но даже и такие кошмары не отваживали от нар и лишь укрепляли привязку, набивали дорожку, и она крепла, узкала, берясь пережитым, как стужей.

Фёдор вставал поздно. Пестря, слышав завозившегося хозяина, нетерпеливо топтал лапами на убитой площадке перед избушкой. Пошевелится Федя — и Пестря затопает крепкими лапами. Замрёт — и слушает — что хозяин? Обувается. Пошевелился — и снова дробь лап нетерпеливая. И топоток, и подскуливание. И то, что кобель полностью прав, работы ждёт — только раздражало. Пестря вообще раздражал — своей простодыростью, слепой верностью. Тупостью: сидит и лает соболя, а где хозяин, плевать — добредёт ли, нет. По сравнению с псом образ соболя был Фёдору ближе: неутомимый рыскун, без глупостей живёт, лишнего не делает, как собака не привередничает, морду не воротит, всё метёт — и рябину, и шиповник, и мыша, и белку, и на рыбу даже идёт, а летом и козьявку замесит, тут к бабке не ходи. Так что ещё подумать надо, ха-хе, в чьей шкуре-то грамотней...

Так и жил не в радость. Мнительность появилась: в другую избушку пойдёт, и начинает казаться, что забыл воду вылить из ведра. Или что уголёк выпадет из поддувала печки и спалит зимовьё. Ворочается. Лопату в руки и снегом засыпает вокруг печки. На другой день пойдёт — и не помнит, присыпал или нет. И конечно кажется, не присыпал. “Опять не ладно”. Понятно, что можно без конца подозревать себя в забывчивости и дойти до сумасшествия.

Стал даже будто болеть, недомогать, и пуще стремился из тайги на нары, которые всё больше манили. Он их *належал*. Однажды сильно приболел в избушке деревенский хворый их мужик. Мужика родственники вывезли, а Фёдора попросили: поедешь мимо — заberi радиостанцию. Заехал. Избушка маленькая и тесная, в половину нары. На стене ковёр с оленями. А на нарах — спальный мешок, фуфайка, тряпки, обёртки от таблеток, которыми завален и стол. Всё на нарах до такой степени спрессовано, налѐжено, что напоминало звериное логово. Вот что-то подобное, только без обёрток, и у Фёдора належалось.

Фёдор ещё нашёл лёжку соболя — в листовни прикорневое дупло. Разрубил и увидел постель: гнилушки, травка, мышинные шкурки. И всё перепрелое и до такой степени потусторонне-звериное и тоже налѐженное, что как в чужую тайну заглянул.

Вообще в тайге много тайн вылезало. В деревнях и особенно городах семейное, личное скрыто наглухо от глаз и ушей. Кто и чем живёт рядом, как звать кого? Одному Богу известно. А на охоте есть радиостанция, и огромная местность так говорит голосами, что у каждого в голове целая карта характеров с подложкой из рек и гор. На топониме люди-голоса — каждый со своей манерой, повадкой, особенностью — словечками, откашливанием. Из каждого голоса, высокого ли низкого, напористого или варѐного, целый портрет многолетний. Кто-то, ни разу не виданный, с женой заговорил, и тайное, семейное, зазвучало на весь свет. “Слышь, мужики, вы помолчите маленько, щас Старикова Курья с домом разговаривать будет”. Притихают, а сами на подслухе. Старикова Курья, басовитый мужик, который всегда на связи и общепризнанно “на под-вид диспетчера”, всегда знает погоду и всё всем передаст. Если дело днём, и почти все мужики на путиках, Курья всё равно ощущает зал и говорит с поправкой. В таких разговорах никакой лирики, и даже наоборот — и показательное бывает. Жена высоким, певучим голосом старается тёплого изыаное пролить на всю округу, и голос как распада тянется по стуже: “Слушай, а Алѐнка сегодня как заплачет, папа, папа”. А папа на ветру на вершине сопки, и не хочет, чтоб слова эти простыли, и только отвечает басовито и всё-таки с улыбкой: “Ну понятно, понятно”, мол, ладно, ладно, не выстужай избу, закрой двери-то.

Считается, что семья помогает в невзгодах, но Фёдора, когда *лежал* — неудачи только отделяли. В тайге его будоражило единственное: вокруг

столько дармового, неучтённого, волшебного живого, что можно пустить в свою пользу, продать или обратить в закуску и раздарить нужным людям. И что он — без свидетелей с этими драгоценностями, и в этом особая тайна, личная, прительная и ничуть не менее интересная, чем семейная. И свои счёты-расчёты, что можно превратить столько-то оленей, соболей или рыбин в снегоход или лодку. Или машину. И довершалось это умением не только добыть, а ещё и пристроить. Это и давало азарт, и становилось целью, и нарастало самолюбием, что поди руки-то из места растут, и добыть умеем, и договориться, и отношения выстроить с миром, пусть грешным, но нужным. И вообще мы мужики крепкие, у нас и дома всё крепко, так что перед людьми не стыдно. И жена — тоже часть крепости, хозяйства, завода. Со своими конечно бабьими немощами-странностями, но тут уж “чо поделашь”. Вон Шектамакан вроде лучший охотник, а бывает, так “евоная” выведет из себя, что фыркает потом неделю, что “никово баба не понимает”.

Фёдору в голову не приходило, что Шектамакан только на людях хорохорился, и целая жизнь шла у него в семействе. Что когда дома, то с женой ездит неразумно и по сети, по черемшу, по ягоду и не потому, что считает жену куском завода, а потому что она значит не меньше, чем вся тайга вместе взятая. А если и порывивал на неё из избушки, то вовсе по другим причинам. Чтоб не сбивала с колеи, с круга, с таким трудом выстроенного. Потому, что если о жене будешь думать, то с ума сойдёшь и прощай промысел. Поэтому проще подморозить чувство, на лабазок вытащить из зимовья, и понадёжней прибрать, чтоб мыши не испортили. Правда, в нелёгкий миг не выдержит охотник, занесёт узелок, оттаит — и такое навалится, хоть правда, “домой бежи”.

У Фёдора было как? Претило большие чувства вкладывать в семью, и всё домашне-тёплое, сонно-молочное, где он расслаблялся и терял хватку, казалось враждебным работе, чем-то стыдным, говорящим о слабости. Другие-то мужики млели от тепло-молочного, и только на людях гонор разводили, а Фёдор всё принимал за чистую монету и за признак силы, которой самому не хватало. И когда окунался в молочное тайное — стыдно было и жену предавал, будто вечный Шектамакан или Перевальный стоял над ним и следил — настоящий он мужик или нет. А если вдруг жена напортачила в хозяйстве или по связи несуразность вывезла — то краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи совета, мол, не знаю, что с нетелью делать. Спросила, не умело, стесняясь всех тех, кто слышит, и от этого хуже сбиваясь. И не к месту повторяя: “Как понял, приём”. А Фёдор отрезал: “Ты давай, это, хозяйка, сама решай с нетелью”. А она тогда про Деюшку что-то пролепетала, что он избушку и собачку нарисовал, а Фёдор закруглил, оборвал почти, мол, ну ладно, ладно, хватит тут нежности разводить. “Всё, до связи”.

Им ребёночка только одного Бог дал, сына Дея Фёдоровича. Хороший мальчишка, маме помогает. Со школы придёт, с дровами поможет, по воду съездит на “буране”, правда, ульёт крыльцо всё, да сам и расшибётся. И так изо дня в день. А дни у хозяйки на один похожи, событий-то нет, и вот уже ноябрь и радуйся — если б не постоянное чувство одиночества и забирающего хозяйственного круга, когда одна мысль — не поскользнуться, не вередиться, не заболеть, тем более на вертолёте грипп злочий привезли. Сначала ноги ломит, а потом температура сорок.

Середина ноября... В тайге у охотников целые эпохи сменились, и каждый день, как деревенский месяц по впечатлениям. Взлёты и спуски. Сопка на сопке. А тут равнина. И вот выйдет хозяйка поздним вечером на угор — чёрно. Только огромный пятнистый провал до неба — Енисей шугует ледяными полями, грохочет раскатисто и отстранённо. Деревня за спиной, и кажется, ты одна на берегу океана. И даже есть ли дом — неизвестно. Может, привиделся? Может, обернешься, а там ни огонька и одна тайга ледяная? И так жутко, одиноко станет, что хоть плачь. Только молитва и спасает.

Фёдор и в полусонных своих мытарствах по тайге плутал, а не домой возвращался, считая, что задача с соболями выживит его худым добытчиком.

А что на любовь смелость нужна, тайно понимал, но за это ещё больше в себе улёживался. Недолюбленное так и копилось: и жена, и сын, и тайга зимняя серебряная — уже в союзе состояли, как всё брошенное. И раз о любви-разлуке зашло: не все охотники ширь имели, как Шектамакан, но управлялись и жили, и любовь хоть какая, но теплым шаром перекаты- валась из семьи в тайгу и обратно без ущерба для близких и дальних.

А соболя всё не ловились. Однажды Фёдор пошёл на путик особенно поздно и вдобавок в ручей провалился — промыло польнико чуть дальше, чем он думал, и припоросило снежком, а тот не успел позеленеть-пропитаться. В общем, подмочил лыжи: камус сложно очистить от ледяного чехла. Ножом стараешься скоблить. И надо чтоб вода замёрзла — чтоб морозец. А то будешь у лыжи сидеть ждать, пока льдом схватит. Фёдор и ноги подмочил и вернулся в зимовьё. Переделся. Лыжи, чтоб не повело, засунул в жомы, парные палочки, заткнул за специально прибитые брусочки. Включил рацию, и его позвал Лабаз, брат Перевального, которого Перевальный посадил у границы участка “форпошшыком”, ну и чтоб сети ставил. Перевальный — деятельный мужик, не старовёр, но уважаемый всеми, независимо от конфессий, в голове трудового мужика соседи-работники по сортам распределены, и Перевальный у всех в первых. Лабаз был молодой и чудаковатый, к тому же не таёжник — работал в школьной кочегарке. Он никак не мог размочить счёт по соболю. Виноват, правда, сам, сначала тянул, взялся баню рубить, потом бросил... и начал настаораживать с опозданием... И вот сегодня у него попал первый соболь.

— Ерачимо! — кричал он, срываясь на фальцет. — Ерачимо Лабазу! Ерачимо!

“Что кричать, — раздражённо подумал Фёдор, — видишь не отвечают, и нечего орать”. И ответил негромко и умудрённо-нехотя, будто занят был чем-то важным и особенным:

— Да, Лабаз.

— Ерачимо, слушай... — Лабаз прямо распирало, — слушай, хе-хе... такое дело... Мне твоя помощь нужна... Я тут соболя добыл! Да главное котyra такой. Слушай, прямо не знай, хе-хе. Слушай, а это... в общем... я хрен его знат, как его обдирать! Помоги, слушай. Я честно чо-то это... Хе-хе.

“О-о-о, — подумал Фёдор, — час от часу не легче”.

— Ерачимо-о-о! — проблеял Лабаз. — Ты где потерялся? Слушай, я не думал, что он такой здоровый бывает! Лапти такие! Может, это росомага, хе-хе-х?

— Цвет какой? — неестественно равнодушно и с надеждой спросил Фёдор, надеясь, что скажет: семёрка, жёлтый, хоть не так обидно...

— Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-рный, веришь ли, как головешка! И ишшо седа! Аж с искрой! Вот ведь! И горло, слушай! Горло аж оранжевое, аж горит, знашь, как этот, как апельсин! А я ишшо ворчу. Думаю, не ловится и не ловится! Дак я согласен — пусть сначала не ловится, зато потом такого великана прикутаты! Тем более я-то так тут у братухи... Для мебели... А и к доброму охотнику не ко всякому такой заперется! Экземпляр!

— Ну понятно. Мыши-то не постригли?

— Да нет, он в жердушке был! Ещё иду — смотрю чо-то чёрное, аж вздрогнул! Ещё тащил в рюкзаке, лапа за ветки цепляется, думаю не сломать бы!

“Какого же он размера?” — изъедал себя Фёдор.

— Ну ты мне помоги, ага? Прямо говори, чо да как? А то я сизжу как дурачок, нехота испортить такого... верзила!

“Сам ты... верзила!” — подумал Федя и сказал:

— Лабаз, у тебя тряпка есть? И чулок?

— Какой чулок?

— Капроновый чулок. Женский. Или от колготков опорок.

— А чулок зачем?

— А обезжиривать чем будешь?

— Обожди, пошарюся на полке.

Пауза.

— Ерачимо! Нашёл! Степан тут всего назапасал. Братан у меня молодец, ничо не скажешь. А то уж я думаю, сейчас “буран” раздёргаю, и в деревню, ха-ха... в клуб! Там какую-нибудь марамуху из колготок вытрясу, едри её за ногу, хе-хе... А колготки в карман и обратно...

В общем, заставил он Федю, подробно с уточнениями и переспрашиваниями, ободрать по рации соболя, да еще при каждом действии в красках комментировал свой восторг по всем поводам: какая у него мездра, “сколь жира в пахах — аж гирлянды, хоть на ёлку вешай”, и какие у него красивые лапы, подушки, хвост, спинка, уши и всё остальное. Чуть не усы: лучшие в крае. После обдирки соболя он так изнервничал, что решил “пружануть бражонки”, причём с полной серьёзностью спросил Федю, “будет” ли он. И разочарованно-облегченно сказал: “Ну а я пригублю”.

— Ты соболя-то напяль хотя бы.

На что тот сказал:

— Обожди, мне напряжение надо снять.

“Ведь сейчас надрызгается, забудет и спарит соболя”.

Эфир наполнялся гомоном, постепенно заглушая голос Лабаза, который уже кому-то другому втирал восторженно про “экземпляр”, про такого “котяру, что загляденье!” и про его невероятные стати, согласно которым он должен был давно превратиться в Золотого соболя из сказки. И про свои резкие планы расширения промысла. Он то замолкал, то вступал всё более восторженно и путано. Паузы увеличивались, а перед тем как окончательно заглохнуть, он прокричал, какой “басявый” у него денёк сегодня, что грех не отпраздновать, и что завтра встанет “в шесть, нет в пять” и пойдёт “дупляночек подпилит”.

“Сам ты дупляночка! Чтоб тебя в душло засунуло. Экземпляр!” — только и подумал Федя, выключил лампу и в который раз взялся за “литературные страницы”.

### 3. ЖЕРДУШКА

Проснулся он в темноте от двух голосов. Говорили очень громко и будто бы рядом или неподалёку. Голоса были высокие, как детские.

— Тихо ты! Проснулся, кажется.

— Да ты чо!

— Ну вот ворочается.

— Чо он сюда припёрся опять? Жили же спокойно.

Подул ветерок, и очень отчётливо скрипнула кедрá о наклонную сухую ёлку. Фёдор пробно пошевелил передними лапами, вытянул их, чувствуя силу и необыкновенную, мягкую их натяжку. Не хрустнул ни суставчик. Потянулся, ощутив отдохнувшее тело, зуднувшее накопленными силами:

— Крупный кот. Ничего не скажешь. — подумал он так же уверенно, так же невозмутимо, как про соболей, не желающих ловиться. Мол, кого-кого, а его-то на мякине не проведёшь, он такой наторелый, что чуть не заранее всё видит. И такое предвидел. Сытое это чувство в нём необыкновенно усилилось и обострилось.

— Потянулся! — пискнули снаружи мыши, точнее полёвки (охотники зовут мышевидных скопом “мышом”, без различия по толкам). Мыши сидели в соседнем кедровом дупле — почти половина кедрин понизу дупловатые.

— Ничо так утречко! — крэкнула кедровка. Федя теперь очень хорошо всё слышал, причём не столько громко, сколько обильно, остро и так, что каждый звук был как утренний месяц — отдельным и тонковрезанным.

— Ну чо нажидать? Лежи не лежи, а на путик-то надо.

И он аккуратно выбрался из дупла. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус — всё усилилось и заострилось, как лезвие. Добавилась какая-то новая острота участия и стремительность, единство решения и действия, помысла и движения. Позыв прыгнуть, повернуть голову приходил сразу по всему телу, а не как раньше. Сначала мысль: “А пойду-ка я сперва простучу лёд топориком”, а потом уже решение: “А теперь ступлю. Ногой”. Нет — теперь

всё шло быстро и ладно. Но была и важная разница. Раньше Федя, о чём-то думая, хватал краем ещё десяток соображений, и было ощущение обзора запаса, хранящегося в голове. А теперь мысли-то оставались прежние, но в его небольшой остроморденькой головёнке помещалась одновременно всегда только одна мысль. Среднего калибра. Остальные были будто в запасе: не то в лапы залиты, не то в дупле лежали, не то рядом ли бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, но не входили в спор, и была исключена возможность обсуждать с самим собой этот случившийся замес человеческого и звериного. Царящая мысль была в монолит слита со стремительным, красивым и здоровенным котярой, тёмным с сединой и со светящимся оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, как ширкнули в корни мыши, он, мгновенно внедрясь в обстановку, трепещущую звуками и запахами, побежал к своему путику. За ночь округу засыпало свежим снегом, будто в подтверждение, что новая книга открыта.

По дороге он попытался подбежать к рябчиной лунке, но рябчик ракетно вылетел, и тотчас с полянки оглушительно поднялся весь выводок и расселся по ёлкам. Запах он чувствовал, но рябчики исчезли. Они были как короткие мысли, которых не надо додумывать — затаилась и ладно. У Федя и раньше случалось, подлетит соображение, и то одним боком повернётся, то другим, и думается: ты бы не вертелось, не путало. А оно пуще вертится, перья топырит, хохолок, и на него ещё всякие подлетают, спорят, морочат. Беспокойство одно. Лучше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, протоптанный снегоходом. Прямоугольная канавка была плавню обведена свежим пухляком. Федя оказывался теперь в её низу и края канавы видел из-под низу. Снег был настолько пухлым, настолько свежесозданным, и такого крупного помола, точнее поморозки — что состоял из синеватых игл, перекрещенных необыкновенно просторно и воздушно. Иглы были то мохнатые, то гранёные.

— Так... Крючок, крючок... — Федя подбежал к капкану, посмотрел по сторонам. — Надо сухой, хотя неизвестно ещё, как лучше... Таскать этот дрын по путику? Ещё и кедровки просмеют. А с другой стороны, каждый раз палку искать...

*Запускием* капканов называется их рассторожка, *захлапывание*, как иные говорят. Фёдор-охотник запускал специальным железным крючком, похожим на плоский костыль. Костыль был вделан в расселину на черенке деревянной лопатки. Такая лопатка имеет длинный черен и используется как посох. Лопасть её изогнута, как ложка, чтоб удержать снег.

Теперь предстояло приспособить подобие. Федя нашёл сухонькую пепельно-серую еловую палочку, взял в зубы, и подойдя к капкану, стоящему в дуплянке, аккуратно тыкнул палочкой в тарелку. Капкан сработал так оглушительно и резко, что Федя подпрыгнул. Но потом спокойно, мордочкой к лесу, съел приваду — кусок рябчиной спинки. Потом пробежал к следующей дуплянке, подобрал еловую палочку и снова запустил капкан, и съел отличную глухариную шейку с чёрным перышком. Пробежал дальше, обойдя кулёмку: безопасность прежде всего — только капканы на земле и в дуплянке, никаких кулёмок и жердушек: слишком сложны в запуске. Четвёртой ловушкой был капкан на земле в основании кедра. В загородке из жердей и с пихтовой крышей. В глубине за капканом лежал обеденный до косточки кусок глухарятины в точках мышинового помёта. В корнях жили мыши. Федя уже бил первый голод и брезгливо пропустил ловушку. Зато в следующей дуплянке ждал кусок глухариной груды с отличным пластом белого мяса.

Федя потрусил дальше, слыша переговоры синиц по поводу его занятия и пуская мимо: всех слушать — уши опухнут. А они нам пригодятся. Вдруг... на дорогу выбежал соболиный след. Федя как вкопанный замер. “А ты ещё кто такой?!” След был ночной, небольшой. Самочка. Он попрыгал по следу — изгибаясь по-соболиному — складываясь как варёжка. Раздражение и возмущение сменилось расположением: пах след чудно, очень милой и аккуратной показалась сама побежечка... Федя встрепенулся и напряжился —

впереді раздалось позвякывание капкана, живое биение, сухая поскрёбка коготков по дереву. Он побежал и увидел в жердушке, прибитой к рыжей зарубке на кедрé, соболошку. С капканом на передней лапке она сидела на кончике жерди.

— Соболя, миленький, выпусти! Пожа-луй-ст-а-а-а! — залилась плачем соболошка. — Придумай что-нибудь, пропадают! — и Федя, настроившийся ровниво и поучительно, аж мордочкой дёрнул от досады: “Вот угораздило!”

— Да погоди, не верещи, тихо сиди, не хватало ещё, Пестря учит. Тогда уж точно пропадешь. — заворчал Федя, не представляя, как разжать пружину, плоский ласточкин хвост. — И как тебя угораздило?! Не видишь — железо! Лапка ты...

“Хуже некуда. И жалко, смотри какая приглядная. Ну как сделать-то? Как? Кедрина если б упала на пружину... Да куда там! Если б ещё на полу капкан был. А тут на весу. Упереть некуда”.

— Ой пропаду, моя! Мороз даванёт и прощай! — не унималась Лапка. — Ты же такой большой, красивый, ну придумай что-нибудь-у-у-удь! Пусть я тебе на поруку, но и в воле твоей!

И она, дёрнувшись, сорвалась с жердушки и, бренча цепочкой, забила на весу, закручиваясь, складываясь и пытаясь сама по себе залезть.

— Да успокойся ты, вздохни! Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! Не рыпайся.

— Всё-всё-всё, моя. Сижу. Сижу. Только не убегай.

— Вот и сиди. И так полтайги взбаламутила.

Неподалёку стояла пихтовая сушина, квадратно по волокнам издырявленная. На ней сидели два трёхпалых дятла. И, видно на суматоху, шёлково-шумно подлетел и подлип к пихтé Желна. Здоровенный чёрный дятел с красной головой.

“Довершалась. И без твоего цокота тошно. Чо делать, ума не приложу. Совсем уж глупость... А и глупость придумаешь, когда выхода нет. Какого-нибудь волка выцепить, чтоб капкан зубами разжал... Да н-но. Тот в жизни не притронется к железу! Чо смеяться? И вообще тип мутный. Связываться с такими...”

— Ну, что? Что? Ты придумал? Может, волка? — пискнула Лапка.

— Да какого волка?! — раздражённо прищипнул Федя. — Я вот думаю... — он задумчиво оглядывал тайгу: — Я вот думаю... вот если вот олень... Они и ребята нормальные, ну и найти проще, где-нибудь на тундре шарятся. А главное, тут хоть понятно, как действовать.

— Но, — сказал Первый трёхпалый дятел. — Так-то... можно попробовать.

Все три дятла уже подлетели поближе и сели на обломыш ещё одной сушины. Феде даже показалось, будто они воткнули свои клювы в деревину, как ломы или лопаты, и те остались словно насадки какие-то. А сами чуть не облокаются на них, судачат:

— Да ково пробовать? Где олень однёрку одавит?! — фыркнул Второй Трёхпал. — Чо собирать-то?

Лапка попала в капкан первого номера. Вкруг этого зашёл и спор.

— Смотри какой олень, — парировал Первый Трёхпал, понимая, что прокосячился.

— Да хоть какой — бесполезно.

— Ну коне-е-ечно, — передразнил Первый, поёживаясь, и забил — как клювом: — Спокойно одавит однёрку.

— Да в жись не одавит. — Второй даже хрюкнул и весело оглядел присутствующих, качая головой, мол, видали упёртого.

— Ну двух тогда ставь! — гневно крикнул Первый. — От проблема-то, едрим-ть.

— Да ково двух? Будут задами толкаться. Ещё и соболя стопчут.

Тут Желна, очень веско и медленно, откашлялся и с паузами отмерял:

— Олень никогда не одавит однёрку. Нолёвку куда ни шло. Ещё какая пружина. А однёрку... ни в жись. — И презрительно замолк.

— Да я чо и говорю, — сказал Второй Трёхпал. — Нолёвку да, согласен. А всё что больше — только сохатый.

— Мужики, — снова вступил Желна, будто не слыша и не признавая, что про лося застолбил Второй Трёхпал. — Не пойму я вас, чо вы хреновиной занимаетесь. Сюда на-а сохатого, бычару сыто́го. Тот одавит. А так бесполезно. Ладно, я полетел.

— Да погоди, полетел, — возмутился Федя. — Там вот край тундры след был вроде свежий. Слетай глянь — может, там он.

— А мне это на-а? — презрительно сказал Желна. — Сопли с вами морозить.

— Слышь ты, долбень, — вышел из себя Федя, — ты языком своим липучим можешь хоть сколь молотить, а я те дело говорю: будь другом, слетай. А я тебе помогу, глядишь.

— Да чем ты мне таким поможешь? — кобенясь, затанул Желна.

— Ой, невозможно, мужики! — закричала Соболошка. — С вами точно заколешь, пока договоритесь! Ой, пропадаю! Спасите-помогите-замерзаны!

— Она дело говорит. Совесть-то поимейте. Я тебе расска... — он снова обратился к Желне, но Второй не выдержал:

— Да давай я сгоняю. Этот вечно... — кивнул на Желну, — только языком...

— Мурашей стращать, — поддакнул Первый.

— Сгоняй, а я тебя научу, как, например, в ловушки не попадать. А то я знаю, вашего брата сильно много в кулёмках гибнет.

— Да лан, разберёмся, — крикнул Второй и улетел.

Минул через десять он вернулся и сказал, что в осиннике стоит сохатый, “здоровенный бычара, рога, как лопаты, ещё и фырчит”.

— Сиди, — сказал Федя Лапке. — Щас всё сделаем. Главное, не дрыгайся — лапу загубишь. — и побежал, слыша удаляющийся разговор:

— Олень никогда не возьмёт “однёрку”...

— Да ба-рошь ты. От у нас в запрошлом году...

Желна никуда и не двинулся.

А Федя увидел картину. Здоровенный сохатый стоял и, несмотря на мороз, лызгал упавшую осину. Аккуратные свежие бороздки украшали оливковый бок. Рога Сохатого были великоленны, в пупырышках, жёлтые в лопате и буро опалённые с боков на отростках.

— День добрый, хозяин! — солидно сказал Фёдор совсем из-под низу.

— Смотри как обрабатываю, — но поворачивая головы, ответил Сохатый откуда-то сверху. Потом отошёл и посмотрел на расстоянии. Тёмно-коричневый, он весь колыхался, ходя ходуном, поднимая длиннющие белые ноги, словно они были на верёвках — штанги какие-то, враз и не переставишь.

— Нормально. Слушай, помоги тут, а я тебе расскажу, где соль взять.

— Я все-гда го-во-рю, х-хэ, — очень неторопливо и веско говорил Лосяра с придыханием. — Что всё дело в инструменте, х-хэ. Если путный инструмент — и он снова полоснул кору, — то что мороз, что не мороз. Один леший.

“С таким мастером она точно загнётся”, — подумал Федя:

— Помоги, а? Здесь рядом. И делов на пять минут. А я тебя научу, как под пулю не попасть. Капитально научу.

— И как? — сказал Сохатый с воспитывающей интонацией. С придыханием, с рабочим кряхтением он перебрёл через ствол, не спуская с него глаз: — Под пулю не попасть?

— Да расскажу всё. Слово. Только сначала надо освободить соболошку одну.

— Откуда освободить?

— Из капкана.

— О-о-о-о! — затанул вдруг Сохатый неожиданно категорично и зачастил очень нудно: — Не-не-не! Не-не-не! Даже-даже...

— Да чо ты испугался?

— Да к чему мне неприятности эти?! Капканы чужие тем более... Не-не. — И он отвернулся, помолчал и, продолжая сопеть, сказал прежним тоном: — Ты давай-ка стрелыни отгудова... Ровно ли бороздка легла?



— Да мои капканы! — выпалил Федя. — Мои! Погна́ли!

— Той-той-той... — вдруг с невыносимой уже основательностью остано-вил Федю Сохатый. — Какие такие твои? — допросно попёр, не отрываясь от осинового бока: — Ты кто такой?

— Я Фёдор... — “И зачем я ему рассказываю!” — в отчаянии думал Федя. Но чутьё говорило, что тянуть нельзя.

— Той-той. Той... — замер Сохатый, вперясь в осину.

— От те и “той”. Хоть голодный, хоть сытой. Я — Фёдор. Да! Я превратился в соболя, — выпалил он, краем глаза и ушами исследуя, слышит ли кто его слова. Наверняка какая-нибудь кедровка притихла и замирает от восторга и предвкушения...

— Той-той-той, — еще раз обойдя осину и ещё внимательнее вперясь ей в бок, сказал Сохатый. — Смэ как ровненько. Лыска должна быть ровно восемь миллиметров. Тогда такую осину хоть куда... Ну-ка стрельни. Давай-ка отскачи туда... Я вообще люблю, когда всё по пути.

— Да какие миллиметры, там Чёрная Лапка гибнет! — крикнул Федя (“Отскачи ещё!”) и добавил отчётливо: — Ты можешь туда подойти и на эту пружину наступить? Я с тобой рассчитаюсь.

— Той-той-той... Значит, как под пулю не попасть. Да? — совсем замедлил речь Лосяра. — А мне на кой, если Хвёдора-то нет теперь! Ну? Мне чо его пули-то? — И вдруг посмотрел на соболя и зычнейше фыркнул: — А?! — да так, что Федя подскочил. Лось был огромен и нависал, как буровая, на бесконечных своих ногах.

— Я тебе расскажу, как мой брат Гурьян ходит, как его собака работает, и где стоять лучше — куда он вообще не ходит. Вообще! И про Перевального. И скажу даже, когда он весной на участок ездит.

— Той-той-той. Давай так. Превратился в соболя, да? А он где тогда? Соболя? Где он есть? А? — снова рывкнул Сохатый. — Соболя был? Был. А теперь ты вместо него. Ты его что — из шкуры выжил? Х-хе... Я чо — не понимаю? Значит, он где-то бегать должен? Без шубы. Так? Или, может, его спецом под тебя сделали? Соболя? — и успокоенно подытожил, пристально пялясь в новую риску, — ...вот это меня волнует. Я люблю, чтоб всё досконально было. Смотри, какой бок!

— Да леший его разберёт! С шубой, без шубы! — кричал уже Федя. — Давай потом. Давай ты освободишь Чёрную Лапку. А там поговорим.

— Да не вопрос. — сказал Лось, и Федя с облегчением вздохнул, а Лось добавил:

— Только сейчас мне с осиною разобраться надо. Давай после обеда. Завтра.

— Какой после обеда!!! Она погибнет же!

— Той-той-той, — снова затянул Лосяра отсутствующе и совсем приблизившись к осине.

— Кстати, у тебя рога отличные, — уже от безысходности бросил закидущку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. Мол, ясно-понятно. А Федя спросил честнейше:

— А ты пробовал ими жердушки отрывать?

— Жердушки? — вдруг неожиданно быстро сказал Сохатый и впервые взглянул на Федю.

— Жердушки. Там же капкан на жердушке, его же на пол надо спустить. Лосяра застыл.

— Надо попробовать, ты же не пробовал. Там, кстати, осины вкусней. Вдруг Сохатый очень медленно зашевелился и, постепенно наращивая скорость шевеления и перестановки своих ходуллин, побрёл в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела комочком, онемев от отчаяния. Первый Трёхпал подлетел к Феде и сказал:

— Мы тут скумекали: ведь ещё и жердушку отдирать надо.

“Вот дятел и есть дятел”, — подумал Федя:

— Давай, работаем! Лося, смотри Лапку не прищепи. А то знаем тебя... Щас, Лап.

А про себя подумал: “Орясина осиновая”.

Дятлы снова подлетели:

— Интересно, возьмёт с первого раза? — вякнул Первый.

— Бесполезно, — сказал Желна. — А если и возьмёт, то гвоздь останется...

— А те чо гвоздь? — бросил Второй.

Сохатый замедленно перетёк к жердушке, некоторое время подлаживался рогом, искал угол, упор, и потом как-то неожиданно и быстро рванул так, что она мгновенно отлетела, — только гвоздь скрипнул отрывисто и заскорузло-морозно.

— О, нормально! — обрадовался Лось и мотнул головой: — Ещё скрипит ково-то!

— Ну всё! Вставай сюда! — крикнул Федя, но Лось уже говорил:

— Теперь крышу, обожди.

Над жердушкой была прибита на тонкий гвоздь рогулька. На ней лежала берестина, завившаяся и обхватившая с двух сторон отростки рогульки. Крыша защищала капкан от снега.

— Да какую крышу? — вкричал Федя.

— Не-е-е, — говорил мечтательно Лось, — хороший инструмент это полдела. — мастерство, конечно, тоже... Ну. Какая рогулька крепче? — отрывисто сказал Лось (намекая на свои рога) и, оглядев присутствующих, сломал пополам рогульку. Одна половинка, одинарная, осталась на гвозде.

Дятлы приснули со смеху. Лось стал её отковыривать. Соболюшка сидела комочком, засышая и клонясь набок. Лось отколупнул остаток рогульки и сказал:

— Не ребят, не знаю, как вы без рог живёте... — и вдруг бодро спросил: — Следующая далёко? — и сделал движение по путику.

— Той-той-той! — закричал Федя. — Какая следующая?! Сюда иди!

Еле уговорили, можно сказать подвели, установили, будто это была сложнейшая конструкция, буровая какая-то...

— Так, а ты тут откуда? — вдруг заметил он Лапку. — Не знал, что они в сборе идут...

— Дэвэй, дэвэй! — раздражённо частил Федя. — Вставай сюда!

Лось наконец встал, куда надо, но его морда оказалась напротив небольшой рябинки, и он принялся её заламывать зубами:

— Конечно, не осина, но смотри, как надо....

— Убийство! Можешь сюда наступить?

— А?

Требовалось стать задним правым копытом на пружину. Сохатый вроде и понимал, но то соскальзывал копытом с пружины, то наступал на неё не по центру и с такой нелепой силой, что капкан выворачивался, падал набок, и бедную соболюшку буквально как плеть бросало о снег, и она вскрикивала.

— Ты его подстучи сзади по ноге. У копыта, — крикнул Федя Второму Дятлу. — Там щикотное место. Осторожно. Смотри, дёрнет — убьёт её. Так. Давай! Ещё. Ещё!

— Ты не забудь соли пару мешков, — вдруг вывез Лосяра.

— Будет соль! Всё будет! Дятя, смотри, чтоб он Лапку не стоптал! Теперь подними ногу! Да не эту!!! Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, сначала на шарь, нащупай! Да не дави! Нащупай! (Тюкни его!) Во! Всё, — крикнул Федя, — дома! Теперь весом! Весом! Есть — на морде шерсть!

Лапку Федя отправил в своё гнездо, туда же унёс запас привады. Лапка ничего не говорила, только прижималась головой к его плечу и плакала.

— Живи у меня, кором есть, — сказал Федя.

— Нет, нет! — твердила Соболюшка. — На что я тебе *такая!* Вот лапку залечу — вернусь! У меня лёжка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убежала, и как-то сразу отдалилось, ушло поле обаяния. Всё-таки гон у соболя позже, да и поважней дела были. Лапка ушла, но тоска и беспокойство остались, хотя не мыслями, а ощущением проникли в головёнку, в которой всегда одна мысль лежала. Давила, как

каменная плита. Видимо, зверное настолько усилилось, что человечье под гнётом засочилось, зашевелилось, как бывает, когда совсем выживают, а места в обрез и за каждый кубик бой. И вопрос — или совсем уйти, или отстоять пространство. Трудное дело.

#### 4. В НЕБЕ НАД ЛЕСОМ

Федя заметил, что чем больше чистит капканы, тем сильнее входит во вкус. Иногда, конечно, он и перехватывал мышку для разнообразия и сугрева, но больше пасся на путиках — нравилась лёгкость, да и азарт в работе с дармовщиной пришёл. Принаглед соболёк. Прижирел. Ещё и сенаставкам наказал:

— Вы мне, эта, сена притащите в дупло. Хвоща помягче. Ясно излагаю?

— Ясно.

— Ну вот. Работайте.

В тайге вовсю обсуждалось происходящее. Кедровки, кукши, белки, лентяи, не говоря о мышках — все подкармливались привадкой, а тут, видя такое дело, забеспокоились. “От ить полюбрюхий! Он чем больше путики чистит, тем больше ись хочет. Затравился. Этак он всю приваду прикончит”, — переживали они за приваду, будто она ихняя.

А соседние мыши нарочито громко заговорили:

— А интересно, он сразу побежит посмотреть, что там у него дома творится? Или ещё жиру доберёт? Нда... Говорят, жена-то его... того... хе-хе...

Только ворон, пролетая, сказал:

— Дурью не майтесь. Так он при деле и вас не трогает. А приваду кончит — за вас возьмётся. Маленько дальше носа глядите!

Федя всё слышал и вздрогнул... Его как лесиной огрело. Шарахнуло. И стало будто размораживать, забирать открытием: оказывается, с самого момента пробуждения в дупле ему больше всего на свете хотелось поглядеть, что творится дома. Словно раньше его и близких только тайга разделяла, а теперь что-то гораздо большее, огромное, сильное и неизбываемое — целая стена вставшая. Желание будто специально таилось, чтобы теперь с головой и брюхом забрать. Даже представить себя без него было дико. Хотя он и не представлял, а только чуял.

Желание это состояло из двух желаний: из тоски по близким, обострившейся после пробуждения в дупле, и ещё очень важного ощущения. При всем своём упрощённом устройстве, соболиной мироподаче, не отпускало одно чувство: что где-то там, в избушках существует настоящий Фёдор. И желание взглянуть одним глазком на дом было именно с этим и связано: мол, все-то знают, что Фёдор-охотник в тайге, а он-то, Федя-соболёк, и *подглядит*. Обманет расстояние. Но это одно. А вот тоска по близким была сильней и безотчётней, и нарастала из подспудного, из той области, как птицы румбы чуют и рыба на нерест идёт в единственную реку. Словно то глубинное, чему он не давал ходу, само за него решало.

“Кстати, у брата Гурьяна... через которого идти... У брата Гурьяна... там богато должно быть. Брат и приваду обновляет чаще, и куски не жалеет. Да и разнообразье — я тебе дам. Всё пробует, и рыбу даже, и ондатру. Кстати, рыбки чо-то охота. Да и в дорогу отъестся надо. Мало чо дальше”. Федя прекрасно понимал, что у брата и собак больше, и народу — Гурьян охотится с сыновьями. Всё исхожено, изъезжено и избегано. “Хороший огород нагородил. В общем так: в дупла и корни не улезать — выкурят. Можно в сопки уходить в камни. Прятаться на деревьях, лучше в ёлку, и сидеть тихо у ствола, следить за охотником. Смотреть в оба. И всегда! Всегда быть с противоположной стороны ствола. Да! И на фонарь не смотреть! Ни под каким видом. Чтoб меж глаз не получить. Скорей всего брат пойдёт сюда искать меня, я на связь не выходил, а обещал. Это, конечно, нам на руку. Да и вообще — на таком участке именно *меня* найти, самого ушлого — это как иголку в стогу сена. Ну вот так как-то. В общем, чёткость, взвешенность и скрытность. Всё. Вперёд”.

У брата Гурьяна стояло около двадцати избушек, и по-хорошему надо было его участок обойти. Но Федя не хотел бежать лишнего, да и обильные путики манили, какой-то даже зуд был на брата. Федя всегда завидовал его любви к промыслу, чуя в ней силу, от него укрытую.

Федя, видимо, чересчур уверовал в своё знание повадок охотника, и не ожидал, что братнин огород будет столь плотным. На участке охотились трое, у каждого по три собаки, всего девять. Сначала шло гладко. За два дня отработал два путика, а потом вдруг именно в это место приехал Гурьян. Оказалось, осенью с сыновьями срубили здесь новую избушку, а ему не сказали зачем-то. В общем, Федю погнали Гурьяновы собаки, и он залез на толстую и густую ёлку, которую специально выбирал, рискуя промешкать. Схоронился в самую середину высоты, где ещё густо, но далеко от полу. Брат никак не мог его добыть: соболь очень тихо перебирался, переползал змеино вокруг ствола по веткам, буквально обтекая его и вжимаясь в шершавую смолёвую чешую, так что капли смолы влипали в ворс — но уж тут не до шубы. Гурьян и выглядывал — всю шею вывернул, и выстрелить зверька пытался — бесполезно. Один раз пулька прошла вплотную и оторвала коготок на правой лапе, и лапу ожгло-конгузило — но всё не в счёт и только собрало. Собаки охрипли. Гурьян серьёзней. Движения становились отрывистей, как-то резче.

Один раз Федя видел, как тот остановился и помолился. Даже шапку снял. Открылись потные волосы, подлиншие вокруг головы, и из-за этого особенно широкая борода. И крестился, споро, размашисто и особенно сверху, с захлестом до края плеча закидывая двуперстие и словно сгоняя коготок. И потом снова медленно-медленно шёл по кругу, высматривая в ёлке. Глаза слезились, оттого что не моргал и не вытирал. Натоптал целую площадку, кольцо с веером лыжных отпечатков. Подходил несколько раз к ёлке — стучал топориком. Потом запалил костёр и пил чай из консервной банки от горошка. С галетами. Продолжалось это полдня. Так и брёл по кругу, заворачивая носками лыж, переступая носками. Заломя голову. Был с “тозовкой” и истрелял патронташ пулек, и ещё запасную пачку почти кончал — оставил пулек десять на крайний случай.

Под вечер тихо подтархтел на новом четырёхтактном снегоходе Гурьянов сын и Федин племяш Мефодий. Розовое лицо горело даже в сумерках, не набравшая силу моховая борода белела куржаком:

— Тятя, ниччо не пойму, — говорил он с жаром, — до базы доехал, вроде как оттуда следов нет. Кобель там сидит. Снегоход там. Карабин и “тозовка” — там! Он куда ухорониться мог?

— На лыжах ушёл?

— Да ты понимаешь, тятя, он за день до снега в ручей оборвался — дак лыжи так и висят в жомах. А голицы старенькие под крышей. Я тоже думал по воду пошёл и в польню оборвался. Нет вроде. Да и ведро с водой стоит.

— Разморозило?

— Но. Копец ведру.

Через полчаса прибежали собаки, с ними Пестря, который, как показалось Феде, особенно рьяно залаял на ёлку.

— Ты, Нефодь, поди, не углядел чо-то. Мне самому надо. Вместе поедем. Только разберемся с этим, — он кивнул на ёлку. И сказал со значением: — Ты путик видел?

— Но.

— И чо думаешь?

Мефодий пожал плечами.

— Главное, здоровенный котяра. Два путика обчистил, — тревожно, собранно и немного отрывисто говорил Гурьян. — Причём жердушки не трогают, только капканы на полу. Только на полу! И где приваду взял, там капкан запущенный. Где взял — там запущенный. Ничо понять не могу. Это чо такое за специалист-то? Какой-то хитровыдуманый. Привады-то подхоя взял.

“Подхоя” — было излюбленное выражение староверов, в смысле — в подходящем количестве, на подходе к завершению плана.

— И оправляется-то так, видно наесть. Я ещё пойму, если голодный, как gritся, страх потерял. А этот сытёй. Ты понимаешь — сытой! Сильно грамотный... И вот, — он вдруг невольно заговорил тише, и снова кивнул на ёлку — это... он, по-моему... заговорённый какой ли. Мы его загнали сюда, дак он будто понимает: я как ни иду — он всё с той стороны елки. Как ни иду — всё с той. Переползаёт, гад. Я уж думаю, не бес ли тут морочит? — А возможно, тятя.

Гурьян помолчал, потом решительно и громко спросил:

— Дак чо говоришь, нет дяди? Добром смотрел?

— Да в том-то и дело, что нет! Вот ты вспомни, тятя, он на связь выходил, как раз середя была, а ночью снег упал, пухляк-то. И вот следдев-то больше нету! Нет следдев! Всё. Чисто. Если бы он после снега ушёл, я чо — не слепой, увидел бы!

— Да поди, — сосредоточенно ответил Гурьян. Помолчал и возразил:

— Однако это вторник был.

— Ково вторник? Середя. Ещё этот баламут, Лабаз-то, соболя по рации обдирал, всех извёл, дядя ему помогал ишшо. Это середя была, я с домом разговаривал. У них как раз вертолёт рейсовый садился, мать сказывала.

— Ну да, — так же сосредоточенно, в уме подсчитывая, отвечал Гурьян, — середя выходит. Точно. Мы же вечером собрались на Центральной, а в четверг мясо вывозили до обеда. Уже четверг был. Я ещё утром Перевальному сказал, что на двух техниках поедем. Ладно, Мефодь. Сегодня Лёва придёт, завтра мы его втрём-то прижучим. Далёко не убежит.

— Бать, — сказал медленно Мефодий, будто не слыша, — а ты про Соболиного Хозяина слышал?

— Да слышал. Дед рассказывал чо-то...

У Мефодия был с собой карабин, он попытался высветить фонариком ёлку, пару раз выстрелил наугад. Потом даже крикнул бодро: “Тятя, давай я залезу!” Но Гурьян его укоротил: “Заводи”.

Мефодий завёл похожий на насекомое снегоход, с пластмассовой, набранной из жёлтых угловатых плоскостей мордой, со стрекозиным выражением узких фар, из которых полился яркий свет, совершенно не шедший таёжной обстановке — нежный, какой-то нетрудовой, из другой жизни. Снегоход тархтел по-мотоблочному. Гурьян долго притыкал, прилаживал лыжи — потом сел, и они утархтели. Только едко дымил костёр, частью провалившись в снег и вытопив дыру до подстилки, а частью обугленных палок вися на снежных плечах. Пахло аптечно палёным мохом. Собаки, их было семь штук с Пестрей, так и лаляли, то затихая, то вдруг, объятые одним им понятным порывом, заходились с новою силой. Было ясно, что ни они, ни Гурьян с сыновьями не отступятся и наутро с трёх точек выстрелят его, изрешетят ёлку. И если даже попытаться в темноте верхом (с дерево на дерево), то далеко не уйти.

Гурьян с Мефодием в это время подъезжали к избушке. Там горел свет, всюю ревел печка и орудовал Левонтий, самый молодой, по-мальчишески худощавый и с ещё более похожей на мох бородой, лепящийся неровно по уже узнаваемым отцовским скулам. Пока мужики рассупонивались, оплывали льдом с усов и бород, он горячился:

— Тятя, у меня фонарь мощнецкий, давай щас поедем, мы его махом высветим, пулек наберём!

— Ну, тять, — подхватывал Мефодий, — ты сам говоришь, он хитровыдуманный. Он собак надурит и уйдёт.

Дымилась на большой глубокой сковороде каша с рыбой, капуста домашняя стояла в банке.

— Фодя, Лёва, давайте. Молимся, — сказал отец и строго глянул на Левонтия, который, по его мнению, недостаточно в́ысоко крестился: — Левонтий, сколь раз тебе говорил, ты ково так крестишься? Креститься так надо! — и он показал, касаясь двуперстьем самого приверха плеча. — У нас у дядьки Тимофея было: всё то болел, то с работой не ладилось. А ему потом наш дед сказал: до самого края надо! Он так зачал креститься и всё — как отрезало. Хе-ге, — Гурьян рассмеялся с прохладцей. —

А у его, оказывается, один-над-цать лет бес на плече высидел. Одиннадцать лет! О как! Дьявола́ они креста бояться! Так от...

После трапезы ребята снова завели:

— Тятя, с ним разбираться надо. Он спокою не даст.

— Тятя, он попробовал. Его теперь не отвадишь.

— Не, сыны. Чо мельтусить. Не зря считалось, утро вечера мудренее, — говорил своим чуть рубленным баском Гурьян. — Тут надо всё вокруг понять. Охота охотой... А мы хоть люди охотчие, но с братом не дело.

— Ну тя-я-ять... — тянули Мефодий с Левонтием.

— Закончили, сказано, — поставил точку Гурьян. — Завтра как обут-рят — с этим хунхузом разберёмся, а послезавтра — до Фёдора.

В это время в Фединой небольшой головке стояла одна напряжённая мысль: как быть? Вероятность маленькая, что собаки его бросят, убегут в зимовьё, но подождать стоит, глядишь, что и наждётся. Уже перевалило далеко за полночь, а собаки и не думали уходить. То успокаивались, то вставляли с новым азартом.

В ёлке копошились поползни, ползали по стволу головой вниз, пищали. Федя поймал, придавил одного:

— Слушай меня внимательно. Если не будешь рыпаться — не трону ни тебя, ни твою родоу. Не будешь верещать, сделаешь всё, что скажу — ещё и отблагодарю. Ну что? — и даванул поползния так, что тот захрипел:

— Что делать надо?

— Собак отвлечь.

— Ты бы попросил добром, я и так бы помог.

— Не умничай. “Попросил”... Будто сам не видишь, что творится?

— Делать-то что надо?

— Для начала подлети поближе к собакам. Сведай, кто чем занят? Где сидит.

Поползень слетал и рассказывал громким шёпотом:

— Буран сидит лижется, Аян под ёлкой. Пестря на ёлку орёт, как сумасшедший. Норка — тоже орёт и на Пестрю поглядывает. А Кузя тоже лает, но задирается к Пестре... Переживает. Бусый валяется, шкуру чистит...

— Стоп, — наморщился Соболь. — Ясно. Надо вам с твоим братцем сесть над Аяном на веточку и затравить его на кого-нибудь. Чтобы они убежали...

— Что там какой-нибудь зверь, ну... более... — начал было Поползень и испуганно замолчал.

— Ну чо замолчал, хе-хе? Говори уж, чо думал, что зверь более ценный, чем я, — разжёвывая чуть не по складам, сказал Федя. — Ну?

— Ну да, — смущённо пискнул Поползень. — А кто? Сохатый?

— Да какой сохатый?! Я для них сейчас всех сохатых важней.

— Ну, а кто тогда? Медведь: не поверят — они здесь все берлоги знают. Росомаха?

— Э-эх... — разочарованно протянул Федя, — удивляюсь я на вас. Взрослые вроде пичуги. Росомаха... Другой раз, может, и сработало бы. Но не теперь. Тут надо что-то, ць, такое! Чтобы имя́ всю подноготню вывернуло.

— Чо-то не могу сообразить...

— Глухарь? — пискнул брат Поползния.

— Да какой глухарь?! Объясняю: рысь! Слышали такого зверя?

— Брысь? А кто это?

— Не брысь, а рысь. Здоровая кошара. Их нет здесь. Но псы тем лучше затравятся.

— А кошара — кто это? На подвид волка?

— О-о-о, — раздражаясь, потянул Федя, — тяжело с вами. Кошка. Такой зверь домашний. Но есть ещё и дикий. Короче, я не нанялся тебе лекции о фауне читать. Сядьте на ветку и начните судачить: мол...

— Понял, понял! — радостно перебил-защебетал Поползень, — там в ручье Рысь сидит! Там Рысь! Там Рысь! Пи-пи-пи! Так?

— Те и “пи”! От ить деревня! Надо сказать так, чтоб... эх! Чтоб они поверили! Какая “Рысь, пи-пи-пи”? Ничо не можете! Надо сказать... — и он

произнёс заправски, нетеропливо и веско: — Слышь, Серая спинка, я чуть не упал тут. Шелушил сушину на краю гари у Юдоломы, и вдруг кто-то ка-а-к... И повтори: ка-а-а-к...

— Ка-а-ак...

— Ка-а-ак мявкнет! Да так хрипло, главное, — я чуть личинкой не подавился... Понял?

— А какой личинкой сказать? Усача или короеда?

При слове “личинка” Федю и Поползня моментально окружили пополз-ни и открыли писк:

— Лубоеда!

— Жука-сверлилы!

— Не! Лучше толстощупика!

— Толстопопика! Кая разнища? Не-вы-но-симо! — Федя аж куснул ко-ру. — У вас товарищ будет с голодудохнуть, а вы его сверлить будете: тебе корощупика или тупоусика! Все мозги проели своими бекарасами. — Федя аж метнулся по ели так, что собаки залились, но успокоился и сказал, выдохнув: — Здесь важно дух передать. Скажи: “Поближе-то подлетел. И обом-лел. Смотрю... скажи, кедр — аж шапка с головы падат!” Обязательно так скажи!

— Как это шапка?

— Ой да чего вы нудные! Короче, скажи: Кедр! Не, не так. Вот как: скажи, кляповая лесина...

— Какая?

— Кляповая. Наклонная значит. И на ней: Рыси здэ-э-эровый кошак сидит. На кедрэ... Ну-ка повтори:

— Рыси здоровый к-э-э-эшак сидит...

— Не “здоровый кэ-э-эшак”, а “здэ-э-эровый ка-шак”... И скажи: “Ког-ти — о! На ушах кисточки — хоть ворота крась. И ворчит так противно, мол, я этих собак всех передавлю... Вопшэ не перевариваю их родову...” Ну чо-нибудь такое. Поняли? Ну чтобы они затравились... Мол, я этих шавок во-обще в грош не ставлю... Во! — воодушевился Федя. — Мол, будут борзеть, всё дядьке своему скажу, он их на рямушки порвёт! Поняли? Обязательно скажи “на рямушки”! Скажи, летом как раз под Усурийск собираюсь. Там фазан до того жирён, аж с хвоста капат. Хоть банку ставь. Запомнили?

— Поняли! Поняли! Пи-пи-пи!

— Вся родову, мол, передавить обещал. Можно ещё сказать: и до того злосмраднo от него кошатиной прёт, что аж...

— Что аж мутит!

— Что аж мутит. Ну всё. Маленько потренируйтесь, а я... подумую.

“Кошак-то, конечно, хорошо, а что дальше-то делать? — тревожно раз-мышлял Федя. — Даже если Гурьян поедет ко мне на базу, то племяши мне тут устроят... рямушки. Драть надо отсюда, хоть по воздуху. Эх”.

И услышал, как поползнь начали:

— Слышь, Носик, у тебя нет жучка позабористей?

— А чо такое?

— Чо-то мутит... Стоит в горле этот запашина кошачий..

— Како-о-ой?

— Чево-о-о-о?

Раздались возмущённые голоса собак:

— Да быть не может! (Обожди, Бусый! Задрал с кусачками!)

— Ры-ы-ысь?

— Что, прямо так и сказал “на рямушки”?

— Ну да: так выходит!

— Да что же эт, братцы?!

— Надо наказывать!

— Брать надо!

— Нельзя так оставлять!

— Тут только слабину дай!

— Слабину почуют — вообще проходу не дадут!

— А соболь как же?!

— Накажем и с сободем разберёмся! Далёко не уйдёт.

— Не, мужики, за такое сразу... учить надо!

— Да конечно!

— А я, главное, бегу сёдни и... как кошаниной набросит. Ещё думал — онюхался. Думал, откуда ей здесь взяться?!

— Да заходят!

— Заходят! Вон чо отказыватца. Нос не обманешь, хе-хе!

— Так, ну чо? Хорош сопли жевать! Работать его надо! Кто за?

— Все за! Гав!

Собаки ещё погалдели, погавкали на ёлку, мол, сиди смирно, “только дёрни отсюда”, и убежали. Федя выждал полчаса, велел поползням замолчать, и спустившись пониже, долго слушал удаляющийся топ и шорох. Когда убедился, что никто не вернулся, спустился на пол и во весь опор побежал в противоположную сторону.

Уже чуть светало. Он выбежал на маленькую проплешинку среди кедров, растрёпанных и стоящих навалом во все мыслимые стороны, словно их приморозило в момент, когда они что-то с жаром обсуждали, маша лапами и качаясь от возмущения или восторга.

На светлеющем небе горели звёзды. Снег был особенно ясным, объёмным, великолепно-парадным. На нём синела канавка с крестами глухариных лап. Под большой узловатой кедринкой как ножницами накрошили хвою, и глядела в выстывшее небо лунка. “Хорошо живёт, поел, тут же нырнул. Потоптался, поворочался, снежок пообмял”, — Федю раздражил безмятежный глухариный режим. Он начал очень осторожно приближаться к лунке, как вдруг из неё раздался строгий голос:

— А ну стоять, пока в лоб не получи!

“Да что за невезенье!” — аж изогнулся от досады Федя, как внезапно из снега показалась здоровенная глухариная голова:

— Чо крадёшься? Даже не думай! Нашёл поползня!

— А ты откуда знаешь? — удивился Федя.

— Я всё знаю, — отрезал Глухарь. — А ну назад!

Федя покладисто отбежал, повернулся к Глухарю, стал столбиком и сказал:

— А на тебе можно улететь?

— В смысле? — не понял или сделал вид Глухарь. Сама по себе картина была замечательной: синий снег, нежнейшее предутреннее небо и чёрная бородатая голова в лунке как в воротах. Из ноздрей и клюва шёл парок в такт дыханию. Правда, Феде не до видов было.

— Я знаю: на тебе улететь можно. Слушай, мне край надо. Да и это тебя касается. Сейчас сюда прибежит десяток собак и Гурьян с сыновьями. Всё равно жизни не дадут, — и добавил заманистым тоном: — А я тебе расскажу, как себя вести, чтобы ни-когда не попасться. Только для этого надо будет... всё соблюдать. Технику безопасности.

— Техника безопасности глухаря, — громко проговорил Глухарь. — Никогда не верить собою. Хе-хе...

— Вот клянусь, друга, — сказал Федя, — стою вот перед тобой. Как есть. Чо не веришь? Раз такой... всезнающий.

— Куда лететь? — быстро сказал Глухарь, и выбравшись на снег, похлопал крыльями и так богатырски покрасовался статью, грудью (“Эх хорошо, с утра морозец!”), что Федя сказал про себя: “Здоров! Ничего не скажешь”.

— В посёлок.

— А садиться куда?

— Ну там аэродром, хе-хе. А если серьёзно — хоть куда, главное поближе к дому, на краю там.

— А там есть лохматые кедринки?

— Вот я как раз хотел сказать. А ты на кедре сможешь сести... с грузом? Там кедровая лохматая такая на краю, прямо как шар, вот в неё если попасть, то само то будет. Прямо с леса залететь, никто не увидит.

— Не увидит — это полдела. А что по полу подхода не будет — важно. Собакам хоть заорись — никто не поверит, — бородатый Глухарь басил не



то что самоуверенно, и не то, что пренебрежительно. Пренебрежительность предполагает давление на того, кем пренебрегают, пусть и таким сподтишковым способом. А Глухариный тон, если что и выражал — то естественное состояние знания. И соболёк, собиравшийся придавить петушину за шею в лунке, перед ним мельчал, словно придавливали его, но не упрёком и неуважением, а правдой, к которой хотелось прибиться.

— Но, — сказал Федя, — а ты грамотный.

— Х-хе, ещё ветер какой будет, — резанул с напором на Соболя Глухарь, пустив лезть мимо ушей. И Соболю показалось, что он сам в два счёта превратил из заказчика в какого-то помощника.

— Ветер нормальный, — вытянул вверх острую скуластую морду и лизнул кончик носа Федя: — Сейчас север дует, как раз под него снизу зайти.

— Если снизу заходить будем — нормально, — сказал Глухарь густо, сильно.

— Я грю, снизу.

Небо наливалось светом, ярким, торжественным и всегда поражающим этим каждодневным, ликующим, зимним совершенством каждого тона. Красота была в такой розни с происходящим, что Соболю сильней заторопил:

— Ну что?! Пробуем?

— Так, — сказал сосредоточенно Глухарь. — Давай с моей тропы по-пробуем. Она проколела. Сядешь. Разбежусь и полетим. Ты, главное, держись добром. И не дури, — только почувствую зубы — так оземь шарашну, что дух выпустишь. Понял?

— Да понял. Понял.

— Ты за зубами за перо прихватись, прямо пониже возмись, под корешки. И лапами держись передними прямо за шею. А как взлетим, зубы отпустишь, а лапами будешь держаться. Главное взлететь. Морда у тебя острая, парусить не будет — уши ветром придавит, только держись.

Было ощущение, что он каждый день извозом соболей занимается.

— Давай — пробуй, а то точно попадём: ты на пялку, я на приваду.

Глухарь уже стоял на своём каменном следе с синими крестиками. Соболю запрыгнул и взялся, как сказали.

— Всё? — крикнул Глухарь. Соболю хлопнул его передней лапой по перу.

Глухарь побежал, захлопал крыльями, совсем чуть-чуть оторвался и, едва пролетев, дупя крыльями по снегу, сел, проехав и взвив снежный морок, так что Соболя всего припорошило, особенно морду.

— Чо такое? — спросил Соболю.

— Полоса короткая, мне не хватит. В лес воткнушь. Да и вообще-чо с тягой. Так... слушай, давай попробуем вот как: ты сиди здесь, рядом с полосой. Я разбежусь, оторвусь сантиметров на сорок, а ты прыгай. На пенёк на этот залезь и с него прыгай.

Федя залез на кедровый обломьш с острыми сучьями и сосновой шишкой в расселине. Глухарь разогнался, взлетел, Соболю прыгнул, но Глухарь пролетел совсем низко метров десять и рухнул, пробороздив снег.

— Не-а. Тяги не хватает. Вроде разогрелся. И мороз. Не знаю... — сказал Глухарь, тяжело дыша, но не жалуясь, а даже пребывая в каком-то рабочем азарте.

— Ты ел сегодня? — строго спросил он Федю.

— Да нет! Ничо не ел, — сказал Федя и, подумав: “Н-да, не тот нынче глухарь пошёл”, предложил:

— Со скалы надо попробовать. Или вот хотя с листвени. Во-о-н с той надо, с берега. Давай вон на бережок выберемся.

Федя выбежал на бережок речки и залез на высокую листвень, которые вымахивают на таких берегах, куда наносит рекой плодородную почву. Глухарь тоже взгромоздился на листвень:

— Ну чо, садись.

— Погоди. Ты это, — сказал Соболю. — Камни сбрось.

— Какие камни?

— Ну в зобу-то...

— Ты совсем трёкнулся? Я те где сейчас камней добуду?

— А я тебе адресок скажу — есть обозначение на Майгушке, там в любое время камня возьмёшь, там осыпь такая...

Глухарь выплюнул камешки, некоторое время отдышался.

— Ты это, если тяжело будет, — заговорил Соболев, — садись там где-нибудь.

— Ты чо, как маленький? — осадил его Глухарь. — Тут если делать — то делать. Чем ближе к посёлку — тем больше и собак, и народу. У посёлка вообще лыжня на лыжне. Ученики ещё эти... шнурят везде. Не-е-е, — с прокладцей и почти презрительно протянул Глухарь. — Тут или до упора лететь, или тогда затеваться нечего.

— Ясно, — согласился Соболев, который и сам так считал.

Рассвет просто мчался, солнце на глазах вставало и из оранжевого, пульсируя и переливаясь, превращалось в жёлтое. Фёдор забрался на глухариную спину и увидел, как далеко внизу бегут по его следу на тундрочке собаки, а поодаль едут на двух снегоходах Гурьян с сыновьями. Залезать было невыносимо трудно, Глухарь, хоть и напрягался встречно спиной, креп ногами, но казался шатким, высоким, спина шёлково-скользящей, а от сознания того, что тот ещё и сам сидит на ветке, да на шатучей огромной лиственнице — мутило. Прихватил Глухаря зубами на крепкое перо на спине, в основании шеи, обхватил лапами и крикнул:

— От винта!

— Чего? — не понял Глухарь.

— Погнали, пока целы, вот чего.

Глухарь рухнул, головокружительно лёг в воздух, заработал крыльями. Ничего не было страшней, поразительней и восхитительней этого свала в даль, прозрачную, одушевлённо-выпуклую, морозно налетающую и тут же берущуюся у глаз морозно-слёзной коросткой. Крепкий воздух проминался, но держал отяжелевшую птицу, которая, было пойдя вниз, выровнялась и начала набирать высоту. В повороте Глухарь накренился, и Соболеву показалось, что его сейчас ссыпет, сметёт с глухариной спины, и весь впился, растянулся, превратившись в летягу. Глухарь словно с горы пошёл с понижением и набирая скорость.

— Ну как? — крикнул Глухарь, сойдясь головой с солнцем, так что оно налило половинки клюва, и те восково загорелись.

— Нормально, — пробубнил сквозь перо Федя, не разжимая зубов.

Глухарь то работал крыльями, то расправлял их и планировал, отдыхая, и тогда несся особенно плавно и свист пера был отчётлив. Удивительно — вроде птица, машущая крыльями, вроде вокруг воздух, зыбкий, ухабистый — но как-то стойко летелось, будто ехалось по прозрачной неведомой колее. И дорога во время взмахов поднималась в гору, а на планировании — спускалась вниз. Так и летели — с сопки на сопку.

Самое поразительное, что как бы Глухарь ни кренился в повороте, голова его оставалась в одном положении, в чёткой привязи к земле. И непонятно было, что вращалось, смещалось — голова относительно Глухаря, или Глухарь относительно головы и Соболев вместе с Глухарём. Ещё Федя не ожидал, что Глухарь будет так вертеть головой, осматривая окрестность. Когда Глухарь смотрел вбок, Фёдор видел его ярко-красную бровь и карий глаз, полный покоя и иконописной какой-то выразительности нижнего века. И хоть простреливало от зыбкости, от того, что пустота внизу, но и надежей вяло от уходящей вперёд сероватой шеи, её упрямого вылета, от чёрной головы и костяного белёсого клюва. Федя уже не держался за перо зубами. Морду, глаза, особенно, нос — холодило, на остальном теле мех справлялся, хотя его и трепало частой волной, проминало мелкою ямкой. Перо глухаря лежало плотно, и лишь когда изредка налетал боковой ветер, перья кое-где привставали, как закрылки.

Когда Глухарь только взлетал с лиственницы и описывал оборот — открылась даль сопок в такой резкости, густоте и величии, что у Фёдора сжалось сердце. Главным в этой горной и суровой дали была её предельная заиндевелость с вершин. У самых высоких сопок таёжная штриховка особенно постепенно редела кверху, на безлесной пологой вершине уступая место

абсолютно меловой белизне, и голая святящая белизна эта была настолько величественно-спокойна, что не могла не значить чего-то таинственно и требовательно важного.

Сопки пониже были сплошь в тайге, но с тем же плавным белием к вершине — чем выше, тем мельче и острее, штриховатей были кедры и ёлки и тем сильнее облеплены каменным сахарным снегом.

Сопка приближалась, подрастая, подпирая глухарю под лапы, и уже совсем крупно были видны жёлтые от солнца лиственничные верхушки в перекрестях ветвей. Сверху лиственничник выглядел, как звёздчатое полотно, а каждая листвень была как нанизанный на ось набор крестов. Чернолесье же с высоты гляделась вовсе сквозным, редким, в струну отстроенным, подчинённым вертикальной незыблемой тяге, чёрно-белому штриховому совершенству. И чем реже стояли кедры и ели, тем сильнее поражала их верность отвесной своей породе, свечевому зенитному строю.

Сопки всё разглаживались, и ковёр тайги выравнивался к далёкому Енисею. Соболёк уже был часть птицы. И как сведёт от неловкой позиции или холода один какой-то кусок тела, так и всего Федю свело от этого полёта, в котором сплелись и жизнь, и небыль, и краса, и погибель — и всё произошедшее в предыдущие дни и часы, а сейчас будто достигнувшее пиковой точки. И это погибельное лежание ковром на Глухариной спине, и скользкое плотное перо и тепло тела под ним, и его напряжения, передающиеся Феде, и два могучих крыла по бокам. И полная тишина над тайгой, будто специально притихло всё лишнее и даже свист ветра в пере казался убавленным небом.

Вокруг простиралась красота, особенно немыслимая и драгоценная именно в своей неизвлекаемости. И Федя был в этой красоте, не как зритель, а как пронзаемый, независимо от того, зажмурился или открывал глаза. Красота была лишь частью обвального потока: налетающего ледяного ветра, затыкающего дыхание, мутящего кренения, сползания с Глухариной спины, косога, перекошенного пространства, когда бок сопки очутился где-то сбоку и казалось, Глухарь сейчас завалится на спину и оба рухнут... И ты, крепче обняв птицу, стараешься удержаться и смещаешься, уходишь в сторону, силясь помочь, перевесить. А когда Глухарь, выровнявшись, начинает с шумом работать крыльями, то немыслимо напрягаешься телом, передавая птице натугу и собственных сил, а когда тот планирует — ещё сильнее приливаешься, превращаешься в пласт и плоскость... И причудливо лежишь меж крыл, которые то опускаются, то поднимаются, округло выгнутые книзу, и ты то оказываешься на спине как на горке, то в спасительной ложбине.

Лететь было тяжело, и Федя знал, что Глухарь не для дальних полётов. Что хоть и хороша у него тяга при взлёте, но это не гусь и не казарка. И то ли почуяв соболиное сомнение, то ли сам по себе устав, Глухарь начал немолимо и незаметно снижаться, с ещё большим усилием налегая крыльями, аж до дрожи, отчего шея как-то особенно напряжённо вытягивалась. И даже стала при каждом взмахе чуть ходить вверх, как у коня, идущего в гору. Что-то происходило и с воздухом, он терял твёрдость, и Глухарь сказал:

— Так, ты давай, не молчи там, рассказывай что-нибудь, а то тяжело-вастенько. Тяга падат.

— А что рассказывать? — сказал Федя, чувствуя, как громко звучит его голос и как притихли и ветер, и гулкая даль, внимая их разговору.

— Не знаю. Хоть что! Можешь что-нибудь... о природе... Или сказку! Давай не молчи только!

Федя вдруг, не успев подумать, заговорил с неожиданным выражением и так доносчиво, что слово свободно полетело над окрестностями:

— Соболю чрезвычайно смел и отваживается нападать на больших птиц, как-то: на косачей и даже глухарей, когда они спят, зарывшись в снег. При малейшей оплошности соболя глухой тетерев быстро поднимается с ним кверху; соболю, крепко вцепившись в глухаря, поднятый на значительную высоту, боится упасть на землю, стараясь уже только как-нибудь держаться на птице, которая в свою очередь с испугу летит с неприятелем, куда глаза глядят и насколько хватит сил. — Феде даже показалось, что Глухарь кивнул бородатой своей головой.

— *Наконец глухарь, перенесшись через несколько хребтов...*

— “Через” — это хорошо! — Глухарь восторженно повернул к Соболю бородастую голову. От ноздри по чёрному ворсу пролегал размашистый мазок куржака.

— Я такие слова люблю, от путних слов сразу сил прибавляется, — крикнул Глухарь. И Федя почувствовал, как их начало поднимать, будто и воздух, и крохотной ледяной пыли тоже по сердцу слова, которые звучали над тайгой странным этим днём.

Федя обрадованно продолжил:

— *Наконец глухарь, перенесшись через несколько хребтов (Глухарь аж хрюкнул от удовольствия и хмельно тряхнул-крутанул головой), а может, и десятков вёрст, от изнеможения где-нибудь падает и, таким образом, переносит на себе соболя из одного места в другое. Это объяснение весьма правдоподобно; зная отважность соболя и силу глухаря, сомневаться не должно. Да и, вероятно, были этому очевидцы... эээ... или другие обстоятельства, фактически доказывающее это... явление... явление, ибо нельзя думать, чтобы простолюдины без основания могли придумать такую остроумную... гипотезу... А-а-а... Забыл...*

— Да что же ты?! — крикнул Глухарь, отчаянно заработав крыльями, которые стали будто проваливаться, будто не только сил у них ubyло, но и сам воздух прослаб от огорчения.

— Ну! — гулко крикнула даль.

— *Ведь были же очевидцы, как ласка, зверёк несравненно меньше соболя, отваживался нападать на косачей и поднимался с ними в воздух, а потом, умертвив их, падал с ними на землю (смотреть “Записки ружейного охотника Оренбургской губернии”. Москва, 1852, страница 347).*

— Вот это другое дело! — сказали верхушки лиственниц.

Некоторое время они хорошо летели, и Федя ничего не читал наизусть, но Глухарь всё больше уставал и снова начал терять тягу. Не дожидаясь команды, Федя начал чтение:

— *Как во время войны довольно явиться перед фронтом какому-нибудь известному полководцу, которого любит, уважает и на которого надеется войско, чтобы одержать победу, так в артели зверовщиков довольно присутствовать известному, удалому, опытному промышленнику, чтобы убить медведя...*

Глухарь восторженно повернулся к рассказчику, и Фёдор снова увидел его древний карий глаз цвета смолы, картинное веко и красную бровь. Фёдор продолжил чтение:

— *Собравшись совсем, промышленники прощаются друг с другом, кланяются на все четыре стороны и отправляются к самой берлоге пешком тихонько, молча — словом, с великой осторожностью, чтобы не испугать медведя и не выгнать его из берлоги раньше времени. Подойдя к ней влоть, более опытный и надёжный охотник тотчас бросает винтовку на сошки, перед самым лазом в берлогу, взводит курок и дожидает зверя; между тем другие здоровые промышленники подходят к самому челу и затыкают в него накрест крепкие, заостренные колья, называемые заламами, имея наготове винтовки и холодное оружие, как-то: топоры, охотничьи ножи и рогатины. Разломав чело берлоги, промышленники начинают дразнить медведя, чтобы он полез из неё, а сами между тем крепко держат заломы и не пускают медведя выскочить вдруг из берлоги. Лишь только последний покажет голову или грудь, как стрелки, избрав удобную минуту, стреляют медведя из винтовок. Заломы нужно держать как можно крепче, потому что освирепевший медведь, хватая их зубами и лапами, старается удёрнуть к себе в берлогу, но никогда не выталкивает их вон. Нужно быть хорошим стрелком, чтобы уловить удобную минуту и не промахнуться, ибо медведь так быстро поворачивается в берлоге и так моментально выставляет свою голову в чело её, что здешние промышленники особо даже выражаются по этому случаю: “Не успеешь наладиться, чтобы его изловить; высунет свою страшную головизну да и опять туда удёрнет, словно огня усекёт, проклятый, а ревьёт при этом, чёрная немочь, так, что волоса подымаются; по коже знобит, лытки трясутся, — адо-ли гром грымит индо лес ревьёт!!”*

— Добр-р-ром! — пробасил Глухарь. — Мне ещё вёрст на пятнадцать хватит! Верно говорят: слово — не кедровая иголка. Его ни клев не пострижёт, ни камень не перетрёт.

И снова напитали сил крылья и заработало Глухариное сердце в полную прокачку. И снова, будто воспряв, с силою потянулась подкрыльная сизая даль и склон с лиственничником начал подступать под самое глухариное сердце.

Господи! Как бы хотелось, чтоб и от моего слова креп воздух над Сибирью и наливались силою чьи-то крылья. Чтобы в долгой дороге — по воде ли, пыльно взрытой задиристым севером, в ухабистом ли иссечённом пургой воздухе или на уваленном снегом зимнике легчало бы на сердце от запавшей в душу строки и сгоняло с усталых очей сонную пелену. Чтобы трудовой мужик, умученный незадавшимся днём, придя в промороженное зимовьё, растопив печь и избыв хозяйственный бытовой круг, откинулся на нары, и нащупав на полке именно эти страницы, прочитал и почувствовал, что не один в тайге, да и в жизни. И слова, что в городе покажутся чересчур плотными, здесь расправятся и без остатка разойдутся-растащатся стужей, требовательной и сильной далью, сердцем, обострённо открытым и жадным до человеческого слова.

Лети, слово, в студёное Божье небо. Помогай ему всей силою образа и памяти, древнего строя и музыки. Держи ветер, не жалея пера и знай: не в том доблесть, чтоб, пустив тебя в морозное поднебесье, с восторгом и гордостью следить за твоим взмывом и ставками. И не суть, каков напуск — в подлёт или с верха, и что меж вами в эту секунду — сокольников перчатка или пласт прозрачного воздуха. А в том, чтоб не выронить связи меж судьбой и взмывшей под облако птицей. Ведь едва прервётся перевязь-жила — хана промыслу, и не мешкая хлынет в прорех ложь и измена. И не в том суть, как добавить красы полёту, а в том, как, стоя на земле, не отпустить от кречета и делом подтвердить слово, если уж одарила тебя высь соколиной ловитвою.

...В это время тень метнулась сбоку, и Федя увидел сизо-белого кречета. Он спикировал, но, увидев странного Глухаря, сделал круг и приблизился так, что виден был его чёрный выпуклый глаз, ярко-лимонная кожа век и на восковице вокруг ноздрей. Сам он был пёстрый сверху, белоголовый и снизу белый необыкновенно снежной какой-то белизной. И неожиданно ширококрылый, и с этой ширины крыло сильно сходило на угол, и сам конец крыла был не острым. И вид Кречет имел не такой остроугольный, как рисуют соколов в книгах, а повадка — солидная и неторопливая. Полёт его, ход крыла был неглубокий, хоть и частый, словно работал он нехотя и вполсилы, едва тревожа, притрагивая нетолстый слой неба.

Едва Кречет поравнялся, Федя поднял голову и спросил:

— Чо хотел?

И было видно, как отшатнулся Кречет, но, не подав виду, сказал:

— Да нормально всё. Тут наши не пролетали?

— Ваши — на Майгушаше, — бросил Соболь, и Кречет, так же будто совсем не торопясь и работая широкоими на конус крыльями, отвалился от курса и потянул к югу.

Кречеты откочёвывали поздней осенью с Пугоранских гор. Летели редко и очень осторожно, будто сторонясь человека, и Фёдор их видел всего несколько и раз и почему-то всегда над рекой, по которой шёл на лыжах. Однажды весной он отобрал у кречета свежедобытую копалуху. Ехал на снегоходе и, увидев большого светлого хищника, сидящего на добыче на реке, подъехал, а кречет тоже как-то не проворно и нехотя отлетел. Копалуху Фёдор забрал, чтобы дома сунуть в морозилку — на следующий год на приваду. По пути в посёлок он встретил мужиков с кем-то приезжим, который, узнав про кречета, взбудоражился, заставил копалуху достать и, выудив бутылку коньяка, велел приготовить макалово (соль с перцем) и на сиденье снегохода устроил гильбу. Построгал грудку копалухи, макал её и всё восхищался: “Мужики, теперь я могу сказать, что закусывал копалухой, добытой из-под кречета! Это же оупеть!” Сейчас Федя, распластанный на Глухариной

спине, об этом и не вспомнил. Его небольшая голова вмещала одну мысль — как долететь.

Глухарь только покачал головой:

— Хорош гусь...

Тот север, о котором говорили ещё на полу и который должен был помочь с заходом на посадку, перешёл из-под тучки в северо-запад и стал кидать птицу и буквально вставать стеной, отлепляя Федю от Глухаринной спины. Удары сбивали с маха, крылья то проваливались, то упирались в порыв, и с каждым метром всё трудней становилось лететь, да и ветер настолько глушил голос, что уж не подпитаться было спасительным словом.

Они летели вдоль реки. Посёлок стоял в её устье, где впадала она в Енисей. Они срезали кривуны, но белое полотно реки пролегалo рядом, то и дело появляясь меж гористых берегов. Теперь шла равнина, и реку было хорошо видеть.

— Давай на остров! Там не будет никого! Облети — следы глянem входные.

— Остров — хорошая штука.

Сверху остров был похож плоскую лодку или талиновый лист, острый с концов.

— Будем ждать, пока не западёт ветер. Заодно перекусим.

На острове росли несколько кедров и большие лиственницы. Глухарь подкреплялся кедровой хвоей, и Соболь его охранял, следил за обстановкой. От острова уже недалеко оставалось до Енисея и посёлка. Место было хорошо освоенное, и они слышали лай собак в тайге, и несколько раз вдоль коренного берега проезжали снегоходы. Ветер начал западать. Тучка разрослась и, поблeднeв, натянула сизоватую дымку, в которой всё как-то осеребрилось.

— Ты лети спокойно, — сказал Федя. — Сейчас все охотники в тайге, а остальные, если и увидят, не успеют смикитить. Они и не увидят. Залетай с кладбища, там дом с профнастилом, на свету горит.

Стартовали с высокой лиственницы и потянули к Енисею. Чем ближе к посёлку, тем чаще раздавался рёв снегоходов и собачий лай. Начался самая опасная полоса — пояс, где особо шнурильные подростки носились с собаками и ружбайками, словно учёба им не впрок, и одна забота в тайгу удрать. Зато у самого посёлка была своего рода полоса безопасности — охотники её проходили ходом, ломясь дальше в тайгу. К тому же к Фёдорову участку примыкало кладбище и никому не пришлось бы в голову шариться там с собаками. Необыкновенно густой кедрочок рос и у домов, и на кладбище, где был похоронен отец Фёдора, Дед Евстафий.

Уже смеркалось. Глухарь, едва взгромоздившись на круглую кедр, посадил Федю, и тут же, захлопав крыльями, взмыл над посёлком и улетел восвояси. А Федя высидел в шарообразной кедре ночь. Выдалась она нелёгкой и тревожной. Слышал, как лают собаки, как лай, только начавшись в одной точке одиночно, тут же подхватывался в других местах и как особенно тоскливо, с подвывом лаяла в нижнем конце. С натянутой ветром хмари луна была мутная, но окрестность просматривалась, и Федя надеялся, что, может, выйдет вечером Анфиса, хлопнет дверь, и даже перебрался поближе — совсем на край на высокую пихту.

Федя прежде не особо думал о семье, и хотя и прикрывался ею, оправдывая свой соболиный нарыск, на самом деле лишь себя тешил, и когда накатывала тоска по близким, то было она и настоящей, и сердечной, да только он скроил себя так, что погоды она не делала. И сидела в нём и грусть по жене и сыну, и сочувствие, и нехватка близости, но мешала низовая хватка, которую он сам в себе выбрал и с такой силой развил. В ней он возрос, ею и занимался, а любовь не догрел, и она осталась в зачатках, а когда наступала, то он с непривычки терялся, переживал неуклюже и впадал в топорное даже умиление. Эх, если б люди, живущие выгодой, шли до конца, то понимали бы, насколько выгода душевная ценнее физической.

Дом стоял задней стенкой к лесу, крыльцом к стайке. Густые шарообразные кедрy росли по краю и неузнаваемо отличались от своих струнно вытянутых таёжных собратьев. Они росли и на самом участке, обозначенном

забором, который деревья не признавали. Они тёмно зеленели, кроме одной засохлой ёлки, у которой Фёдор привязывал собак. Летом, спасаясь от комаров, они разрыли корни и ель пожелтела. Сейчас, правда, всё было под снегом.

Ещё потемну надо было занять обзористую позицию, потом у что Анфиса ходила первым делом в стайку, а потом кормить Азарта с Бойкой, которые сидели привязанными внизу огорода ближе к Енисею — как раз у той сухой ёлки. Цепь Азарта была надета кольцом на длинную толстую проволоку, закреплённую меж деревом и домом. Скользя по проволоке, кольцо позволяло Азарту бегать вдоль проволоки, и ту отшлифовало в зеркало. Кольцо ехало с самолётным скользящим свистом, и гулко отдавалось в сруб — проволока была и сама натянута, да и вес строя добавлял.

Собаки сидели по местам, так же взвизгивало кольцо по проволоке и словно напоминало о том, как надёжно всё Фёдором сделано. И Анфиса тоже была частью этой хозяйственности, крепко выполняя наказ — собак не спускать. О чём говорил и снег — следов не было.

Собак он строго-настрога запрещал отпускать с привязок — забор не спасёт и прорваться с участка в посёлок засидевшаяся псарня умудрится любыми путями. А там собачьи свадьбы — кобеля задерут, да и мало ли куда залезут четвероногие, в ограду, в стайку к курицам — пристрелят пса и не узнаешь. А уж к Рождеству наметёт такие надувы, что скроет забор с головой — беги куда хочешь и кто хочешь. Сейчас до надувов не дошло, а забор Фёдор сделал высоким и плотным, так что чужих собак во дворе не было.

На рассвете Федя аккуратно пробрался до ближней к дому кедрушки, спустился и, пробежав по двору, забрался на сосну, росшую напротив веранды, где сидел в развилке рядом со скворечником, который сам и сделал. Эх, как бы сейчас пригодился леток пошире, но он об этом не думал: у него только она мысль помещалась в голове: увидеть Анфису и сына. Так хотелось, что он не думал ни о том, как выбираться, ни что вообще будет дальше. Так бывает: кажется, увидишь дорогого человека, и так озарится в мире, что всё само решится.

С сосны, посаженной ещё Фёдоровым отцом Дедом Евстафием, отлично просматривался и весь двор, и его собственный след: со стороны леса он шёл по целичку, дальше было утоптанно, а перед сосной след снова выбирался на чистый снег, пересекая след кошки. Анфиса точно не приметит, а Дей выйдет, угруженный ранцем, и сразу к воротам.

Хлопнула дверь из избы в сени, раздались напряжённые трудовые шаги: так ступают, когда несут что-то. Отворилась дверь, пнутая ногой, и, скрипя калошками, вышла Анфиса в фуфайке и платке и с собачьим тазом. “Два раза кормит, как просил, заботится”, — проехало в голове. Федя увидел Анфису только сбоку и, особо не разглядев, заметил что-то белое на левой руке. Это был гипс — несколько дней назад она упала, и у неё треснула кость возле запястья. Таз одним бортиком лежал на забинтованном гипсе, уже измызганном, потемневшем в бесконечных хозяйственных заботах. Анфиса повернулась спиной и пошла вдоль дома в сторону невидной собачьей ёлки. Федя отлично слышал и скрип валенок, и отчаянно взлаявших собак, почуявших кормёжку, и их топоток, скользящий звук кольца по проволоке и её гулкую отдачу в избу. “Да несу, несу!” — говорила Анфиса собакам. — А ты-то! Ты-то извертелася! Ой, лиса-лисуныя! А ты-то! Ты-то!”

Видимо, поставила таз и стала черпаком отливать в чашку, чтобы каждому отдельно. Слышно было прекрасно — даже как Азарт издал от волнения зубную дробь, задрожал, часто перещёлкнул зубами. Обе собаки по очереди затряхивались от волнения, и цепи заремели обильно, сбруйно. И снова прогрело от того, как крепко он сделал и цепи, и кольца, и натянул проволоку, и как это сейчас особенно надёжно и к месту работает. Наконец раздалось дружное чавканье. Потом, видимо, Бойка прервала чавканье и посмотрела на Азарта. Ей показалось, что у него вкуснее, а он стал, не вынимая носа, свирепо рычать, бурля пузырями. Фиса взялась его увещевать:

— Ой-ёй-ёй! Ну прямо объели тебя! Объели! Ну уж прям и посмотреть нельзя, смотри чо. А ты тоже, мадама, не зарься, ешь своё! Ешьте, ешьте...

А я постою. О-о-о-о... Ещё сколько стоять-то так... Хозяин когда ишо... До Рождества самого... — и как-то задумчиво грустно протянула: — Ой, Господи...

Фиса ещё некоторое время говорила с собаками:

— Ну всё? Всё? Набили бока. Конеч-е-чно... Я вам туда ещё и курицы бросила... Ну иди, иди. Побегай... Засиделись... Засиделись... Конечно... Да ты ково тянешь-то! Погоди ты, торопыга, дай отцепить-то! Ой, юла! Ой, юла! Ково лижешься?! Несураз-ный! — Она особенно ударила на “ный”.

“Какое “побегай”?! — вскричало, взорвалось у Феде в голове, сверкнуло по всему холодеющему существу. — Она ково делат?!” Но уже несся навстречу весёлый и мощный собачий перетоп с кусачим рыком — Азарт на ходу покусывал Байку. Метнулись по двору, и тут же кобель, взвизгнув, ткнулся носом в след, и моментально поднёсся к сосне и залаял, сначала неуверенно, а потом азартно и рьяно.

В это время маленький Дей вышел на улицу с ранцем и вдруг, бросив его на снег, заскочил домой. Если выходил он неторопливо, даже особенно вяло, тягуче, и тягучесть подчёркивал инородный портфель за спиной и болтающаяся лямка, то, сбросив ношу, мальчишка необыкновенно быстро скрылся в сенках. Анфиса тоже вошла, грохнув пустим тазом, и послышались их разговоры, сын что-то искал (“Мама, ты котомку чёрную, случаем, не прибирала?”), (“Ково там?”), (“Да там в пакете три пачки, “Юниор”), (“Да я в ларь положила”). Через несколько минут Дей выскочил с “тозовкой”, и в лоб Фёдору уставился ствол.

Окончательно рассвело.

“Тозовка” была старая, ещё Деда Евстафия, “ТОЗ-16”, однозарядная, с утолщением, бутылковидным пламегасителем на конце ствола. Ствол вытертый, оловянно-белый, приклад серый, и, как водится, замотан изолентой. Изолента синяя, блестящая и будто лакированная — до того загёртая. И на затворе круглая набалдашка, шарик отшлифован в зеркало. Этих подробностей Федя не видел — знал наизусть.

Произошло ещё вот что: едва в лоб Фёдора уставился ствол, всё происходящее в душах и с душами уплотнилось во времени, тогда как земное, напротив, замедлило ход. Это касалось всего: движений сына, когда он, не сводя глаз с соболя, нащупывал в кармане среди россыпи пульек — одну-единственную, главную в эту минуту, а может и в век. И как пульки не хотели перебираться — подрагивали пальцы, и наконец попалась одна, то ли самая быстрая, то ли, наоборот, неловкая, слабая... И когда Дейка медленно взял за блестящий шарик и отворил затвор, и вставил пульку тёмного свинца с блестящей жёлтой гильзой... И очень медленно дослал затвор, который растянулся, открыв дырку с пружиной... И вот “тозовка” заторможенно поднимается к плечу, причём Деюшка очень красиво и заправски сгибает локоть, отводя в сторону, и поднимает, упирает в плечо приклад. Потом так же медленно опускает приклад обратно и переводит бегунок мушки с пятидесяти на двадцать пять на метров.

Едва Дей поднял ствол, и глаз увидел в прорези мушки голову Соболя, как крепчайшая связь установилась меж стволом и лбом Соболя. Вытертый ствол с набалдашкой будто имел продолжение, и Соболю теперь был нанизан на прицельную линию, как кусок привады на рожень кулёмочной насторожки. На кедровую длинную и сухую щепу, заботливо приготовленную охотником в избушке. И так крепко сидел Федя на рожене, что любая дрожь в руках сына отдавалась в голове, и казалось, если тот поведёт стволом, то другого удёрнет с сосновой развилки. Но сын крепко держал оружие: главное было сделано, осталось только пальцу нажать на спуск, а пулке вылететь и с тугим шлепком пробить тёплую голову.

Дикое разрежение глядело из чёрного зрака ствола, но роженёк кулёмки, торчащий во лбу, был тошнотворней и сильней пульки. Федя надеялся, что лоб привыкнет, что рожень прилежится и перестанет так знобить душу. Рука сына всё-таки подрагивала, и в Фёдоровой голове происходила мешанина содержимого, видно роженёк, как мутовкой, вскручивал память и помогал Фёдору думать обо всём сразу. Но главное, что надетый на рожень Федя мог только в глаза Деюшке смотреть.



Когда Деюшка пил молоко из Анфисинной груди, Федя смотрел заворованно. Деюшка так старательно сосал молочко, что его головёнка с белыми волосиками покрывалась нежнейшим бисерным потом. Глаза Деюшки были открыты и смотрели на грудь мамы, но чувствовали рядом и отца. И ручка нащупывала папу, не глядя, и отодвигала, чтоб не мешал, не отвлекал. Отец, наоборот, хотел участвовать в таинственной передаче силы, и было обидно, что гонят... Но Деюшка не всегда его прогонял, а иногда, наоборот, затевал игру. Попьёт-попьёт, а потом резко оставит сосок, тот резиново сыграет, выбросив мутно-белую каплю на детскую губку, а Деюшка повернется, перекатится на спинку и смотрит на Фёдора. Смотрит почти проказливо, и пристально. А потом вдруг снова перекатится, на бочок ляжет и снова за сосок. И сосёт, смотрит распахнутыми глазками перед собой, и торчат реснички, а сосок большой, набухший, а ротик приоткрыт, и видно, как работает, старается язычок. А малыш попьёт-попьёт, и вдруг снова откатится и смотрит на папу в упор. Внимательно-внимательно, будто проверяет, стоит ли отец всего происходящего, туда ли попал малыш, и кажется, вот-вот улыбнётся,.. и снова кувырк и за сосок. И опять в приоткрытом ротике старается язычок, добывает спасительное молочко, закачивает жизнь. А Деюшка снова откатится и смотрит на Фёдора. Эти глаза и теперь смотрели на папу в упор.

Однажды Фёдор рыбачил под осень окуней на яме. Окуни́ были здоровенные, а главное, в отличие от остальной рыбы брали не всякий час, а утром или ближе к вечеру, и азартно было угадать в клёв, да и собакам на корм рыба всегда в приварок. Рыбачил Фёдор с лодки — под скалами в яме с чёрной водой, по которое плавали жёлтые листовяжные иглы. Часа два протаскал он окуней, и когда в очередной раз кинул спиннинг совсем недалеко от лодки, вдруг взял здоровенный тайменяго. Год спустя история повторилась: ловил щук на яме, и тоже под конец выворотил тайменя. Понятно, что холодеет вода к зиме, и таймень бросает пороги, начинает широко ходить и шариться по ямам. Но Фёдор объяснил и так: таскание окушариков, вся эта возня, рыба толчея, плеск, странно и быстро исчезающие окушки на водяном небосклоне — всё это привлекло рыбину, которая какое-то время медленно приближалась, ходила кругами по водяной толще, мощно и медленно изгибаясь на поворотах.

И когда сгустились события вокруг родового дома и вблизи кладбища, где когда-то похоронили отслужившую оболочку Деда Евстафия, то душа Деда спустилась спирально и начала медленно и плавно кружить у родного порога.

Отцу подумалось, что подобно кедру в грозу расщепился он на пять сыновей. Что каждая щепка — это часть его, одна какая-то сторона, а был он на все руки хозяином: и корабел, и пахарь, и охотник, и семьянин и молитвенник. Пять пальцев, пять кедров, сожмёшь в кулак — кусок камня, смолистый узел-сук. И если мизинец не в отцову щепу ушёл, то чей это недогляд?

Так странно пошло это утро, что мысли и о пережитом, и о происходящем никому не принадлежали и тоже вились в сгустившемся этом месте, ходили, изгибаясь, поводя хвостами, появляясь из леса с стороны кладбища, медленно сквозя меж пихтовых и кедровых стволов, и прошивая души Евстафия, Федя и Деюшки.

— Разлил себя по пяти четвертям-бутылям... На младшую не хватило... Вот и не дóлил... — сказала длинная краснохвостая мысль с лиловой спиной и тёмным крапом по сталистому боку.

— Так и пошло. А Фёдор Деюшке ещё больше не дóлил, — вильнула хвостом ещё одна, тихая, с оловянной чешуёй.

— Дóлил — не дóлил. Так говорите, будто своё вообще не в счёт, — почти обиженно сказала небольшая толстая рыбка с полосками и капризным ротиком.

— Да тут важней — не своё-чужое, а Божье, ли бесово. Сильный Божье отстоит, а слабый отложит, — сказала оловянная.

— Ой, дефьки, давайте не надо: “сильный-слабый”... — отмахнулась плавником полосатая.

— Ну отчего же... — негромко сказала серебристая мысль с плавниками, дымчатыми, как вода в горной речке. Она тоже выплыла из леса со

стороны кладбища, гибко и очень плавно овиливая стволы пихт и кедров. На их ветках висели ржавые цепи от бензопил, которыми пилили землю, когда хоронили зимой, и серебристая мысль проплыла сквозь такую цепь, и та тихо звякнула. А серебристая продолжила:

— Вот говорят: “ну что с него взять — слабак-человек, не может противиться...” А посмотреть, оно у всех: и светлое в душе, и тёмное, почти поровну, и даже самый праведный, если попустит, то может так в себе тёмное размотать, что на десять неправедных хватит. Ты правильно сказала: важно, как ты в себе светлое увидел-отстоял. Бывает, сил-то по горло, а пример не тот взял. Важно не чѐм одарили, а как с дарѐным поступишь. А сильный, несильный... Бог разберѐт. Вон вроде сильный, волевой. А доброты нет. Одного себя видит. И к чему сила? Вот возьми — Кречет и Глухарь... Кто сильней?

— Глухарь однозначно, — сказала мысль с полосками.

— Да что Кречет? — раздражѐнно сказала краснохвостая с крапом. — Один форс.

— Сильному и трудней, — сказала ещё одна, тоже серебряная, но совсем небольшая и стройная. И раскрыла спинной плавник с изумрудным разводом по крапу: — Но ему всегда кажется, что он знает, что делает...

— ...Что есть закон, — поправила серебристая. — И такому не надо свидетельства... А слабому — чудо нужно.

— А сильному вроде и не нужно, но иногда он так засомневается, что хоть не живи. А слабый, если уж чудо случится — так уверует, что всю жизнь свою развернѐт, — сказала с разводом по плавнику.

— И так до конца пойдѐт, что сильней сильного будет, — подхватила оловянная.

— Сильней сильного? — задумчиво сказала с дымчатыми плавниками. — Не знаю. Сильный — кто любить умеет. И меняться, но не изменять.

— Меняться... — повторила оловянная. — А есть, кто всю жизнь в борьбе чѐрного и белого живѐт и это за верность считает. А есть — которого так шарахнуло, что жизнь новую начал. И что не узнать — словно шкуру сменил.

— Такие только в притчах бывают, — пожала полосками полосатая.

— И-и-и... — сказала пожилая рыбинка со шрамом на хвосте. — Жизнь и есть главная притча. А сильный — кто это видит.

— Мы тут можем сколько угодно рассуждать... — тревожно прервала мысль с оловянной чешуѐй. — Но что-то сделать надо.

— Да, — сказала серебристая с дымчатыми плавниками. — Тем более этой земле так досталось, что мы... не можем...

— Ну... — сказала краснохвостая, — не имеем права...

Вдруг перелились звоном все цепи, висающие на кедрах и пихтах, и гулкий голос сказал:

— Я-то ладно. Я всё видела и под небом лежу. А вот Кровинушке как-ково?

Кровинушка всё это время тихо ждала и хоть и слышала разговоры, но по-настоящему слушала только небо и давно всё решила. Странны ей были рассуждения, но она понимала, что ничего просто так на Земле не делается, и минуты эти к чему-то нужны. Она была как мать, что собралась отстоять дитя, на которое весь белый свет ополчился. Она всё знала, всё решила. Не рассуждала и не гадала, что скажут другие. И даже думала, что одна такая чудачка, и была единственная, кто не сомневался. И когда её спросили, ответила:

— Не бывать этому.

И вдруг тайга зашевелилась и повторила:

— Не бывать этому.

— Не бывать, — повторили Круглая Кедрa и сосна со скворечником, сделанным Фѐдором безотчѐтно, по чутью, и с осени ждущим скворушек, которых так любил маленький Деюшка.

И Земля сказала:

— Не бывать.

И даль подхватила эхом:

— Не бывать, не бывать... не бывать...

И небо облегчённо вздохнуло и сказала:

— Воистину не бывать.

Время уже сжималось, и бессмертие, которое вторгло в земную гущу, чтобы помочь разобраться со случившимся, уже отходило обратно, словно в вечности образовалось разряжение, утечка. Так уходит рыба из мелеющей старицы в реку, когда в ней падает вода, и по закону сообщающихся сосудов начинается перетекание, переброс водяной плоти, незримо подчинённый планетарному единому урезу. Так засобирались и мысли и стали одна за одной уходить к лесу.

Цепь, которой пилили могилу Деду Евстафию, висела как раз на Круглой Кедрё. Она, видимо, была в то утро тем самым проточным местом, окном в невидимое, потому что рыбы именно в неё и утекали, затягиваемые светлой воронкой. Последним проплыла большая и трудовая душа Деда Евстафия, на ходу коснувшись цепи. Та ответила тихим звоном, а душа Деда успокоенно устремилась к свету, к поверхности...

А Деюшка так загрузил по тяте, что слабостию налились руки, и хрустнул смертельный роженё, соединявший дульный срез "тозовки" с соболиной головой. И Азарт залился неистовым лаем и с такой силой зацарапал, закрёб лапами по стволу сосны, что вдруг поплыло в глазах и у Фёдора. Как-кие-то голоса слышались, кто-то заговорил наперебой, и стало казаться — необыкновенно знакомое, важное звучит, и что-то мгновенно явившееся, сверкнувшее — продолжение давнишнего, прожитого...

Федя очнулся на нарах, на своей лёжке, на сохатиной шкуре. Настолько серьёзным было произошедшее и столько в нём было смысла, скрытого от земного понимания, что требовался соединительный зазор, смещение во времени — поэтому переброс Фёдора происходил на самом рассвете, на полчаса раньше свершённого у сосны.

Медленно выплыло из тьмы синеющее оконце, затянутое полиэтиленом. Фёдор некоторое время лежал, приходя в себя и не рискуя пошевелиться, словно движение могло нарушить случившееся, вернуть туда, откуда он только что явился. Фёдор медленно потянулся к лампе и снял стекло. Фитиль был с нагаром — в своих страстях и слабостях он не следил за лампой, махнув на многое. Фёдор двумя пальцами снял крошащийся гребёнок, который сухо отломился по самое основание... Стекло было мутным, в бурой гари. Он оторвал кусок от тряпки (старой простыни), которую клал на колени, когда обдирал соболя. Нынче тряпка была почти чистая. Начал протирать изнутри стекло, и оно становилось всё более сияюще прозрачным. Он дыхнул, оно взялось туманом, и он снова протёр по влажному и, глядя на проясняющейся куполок, вдруг почувствовал, как влажно прозрели глаза и мурашки прошли по затылку...

Фёдор достал спичку, но она не загорелась — головка крошилась, и горячая крошка, шипя, отлетела в щёку. Он достал вторую спичку, и та было загорелась, но, чадя, погасла, и пахнуло мгновенно серой. Он взял третью, что-то сказал, чиркнул, и она загорелась ярко и счастливо. Он поднёс спичку к фитилю. Фитиль, потрескивая, разошёлся, Фёдор вставил в лапки горелки до скрипа вытертое стекло, и ясный свет озарил жёлто тёсаные стены. Фёдор посмотрел на свою руку. На мизинце почернел ноготь: "Сойдёт теперь".

Фёдор затопил печку и вышел из избушки. Свежий и пухлый пласт снега лежал перед избушкой по границе навеса. Ступать было не то что страшно, а как-то... необратимо. Двигался он чутко и по-светлому осторожно. С каждой секундой Фёдор неумолимо отдалялся от точки своего пробуждения, от границы случившегося, и всё то, что оставалось за ней, продолжало звучать и наполнять знбким туманом каждую жилку, и он боялся, что туман ослабнет. И следил за ним, страшился пролить и растерять всё то, что огромным комом-облаком стояло под сердцем.

Подошёл к снегоходу, укрытому тонкой и крепкой синтетической тканью. На ткани лежал слой снега, он потянул, и она подалась, пружиня. Тянул, и с крупным зернистым шорохом ткань сползала со снегохода, с промёрзлой сидухи, и когда провисала, ощущал сыпучую тяжесть снега.

Завёл снегоход. Пока тот грелся, порывшись под навесом, нашёл полмешка соли, взял за твердую и одновременно пластилиново-податливую просолевшую мешковину, поставил в багажник и уехал на путик. Когда вернулся, у избушки скакали собаки и желтел снегоход со стрекозными фарами. Из двери в клубах пара выскочили брат Гурьян с Мефодием и Лёвой. Глаза у племяшей были радостные и сияющие, а у Гурьяна радостные и возмущённые.

— Здорово, брат! Ты где был? Мы тут с ума посходили!

— Моим не говорили?

— Да нет пока. Хотя времени-то подходя прошло.

— Волновать не хотели, — сказал Лёва.

— Ну и правильно.

— Ты где был-то? — снова спросил Гурьян.

— Ну пошли в избу, — сказал Фёдор.

Вошли в жаркую избу. Фёдор долго раздевался, стаскивал свитер с плотным, узким, как рукав, воротом, так что сквозь него килем пропечатывался нос. Тащил и задралась кверху вся бородача, полностью закрыла лицо снизу, а потом пружинисто вернулась на место. Фёдор не спеша *развешал* отсыревший свитер на вешалах над печкой (“Вы давайте тоже сушитесь — всё равно сыреешь в дороге”). Повешал домашние рукавицы с пришитыми тесёмочками — завязал их так, что получилась пара — и тоже на палку. Сел напротив брата.

— Ты куда пропал-то? — спросил в упор Гурьян.

— Да тут целая история...

— Ну? — смотрел пытливо брат.

— Летал.

— Как летал? — открыли рты все трое.

— За релюшкой. На Гудкон. Рация задобала. Вертолёт подсел какой-то левый, туринский, что ли, или байкитский, рыбу имя срочно подавай, какие-то сидят, то-о-лстый такой ещё мужик в камуляже, рожа такая, — Фёдор показал руками, — с города наверно, закусить нечем... — и покачал головой, смеясь... — А у меня рация как раз крякнула, на связь-то не выходил.

Гурьян с сыновьями переглянулись.

— А я слышу, гремит, — невозмутимо продолжал Фёдор. — Ишо копошусь с дровами. А он садится. На коргú туда. — он показал рукой. — Я по берегу побежал туда. Но. А у меня как раз на второй избе ленки, чыры. — Он снова показал руками размер с полено. — Они орут: ждате не будем, у нас теперь всё на яшшык пишется. Ну и полетел.

Фёдор открыто глянул на слушателей. Сыновья снова растерянно переглянулись и опустили глаза.

— Да а ты как смотрел-то? — грозно спросил Гурьян Мефодия.

— Да... — развёл руками Мефодий. — Я не ездил туда, я те говорил — там дядя оборвался.

Гурьян с досадой покачал головой и добавил:

— Да тебя кто ехать заставлял? Вы чо — без техники уже шагу не ступите? Сходить надо было. Вас отправлять... себе дороже, — покачал головой и добил: — Там ямки от колёс должны остаться.

— Да он ково усмотрит? — возмутился уже Фёдор. — Это же на коргé. Там ветрище берёт, через полчаса и следа не видно.

— Ну поня-ятно, — заговорил Гурьян, передразнивая некоего избалованного увальня. — Это же триста метров! Это же пройти надо!

— Я туда по берегу бродком убежал — лыжи-то сохли как раз, их вытаскивать надо было. Ямки... — и Фёдор улыбнулся, покачал в свою очередь головой. — Иди вон, не веришь дак — там видать поди.

— Да где видать, там передуло всё — такой северище катал! — возмущённо сказал Гурьян и отвернулся, а потом, помолчав, спросил:

— Да а как ты по берегу убежал, если провалился? Там же промыло.

— Да промыло-то выше. А заберег как раз от ручья, где вода выливалась.

— Я одно не пойму, — говорил Гурьян с напором и напряжённо хмурясь. — Здесь расстояние пятнадцать километров максимум. Вертолёт бы как поднесённый бы грохотал, мы бы чо, не услышали?!

Фёдор пожал плечами и ответил почти возмущённо, но негромко:

— Дак вы поди на техниках ехали. Не дома сидели... — и отвернулся в свою очередь, а потом снова уставился на брата с пристальным прищуром: — Вы в четверг утром чо делали?

— Так... — сказал Мефодий, который был за дядю потому, что иначе оказывался вороной.

— Это когда было? — подал голос Лёва.

— Так... Да в четверг! Как раз в среду Ла́баз соболя обдирал. Ещё рейсовый был. Чо вы мне рассказываете? — напёр Фёдор.

— Ну вот, тятя! — почти крикнул Мефодий. — Мы как раз мясо вывозили, на двух “буранах”.

— Ну! — развёл руками и почти презрительно воскликнул Фёдор. — Вы ещё с утра Перевальному сказали, что в две технике поедете.

Гурьян сосредоточенно посмотрел на каждого из сыновей. И вдруг выпалил:

— Дак обожди. Какая релюшка, если ты слышал? И Фодя рацию проверил — работат!

Гурьян глядел облегчённо и почти весело.

— Дак она работала, — очень спокойно и нехотя-торжественно отвечив Фёдор, и отдельно, мягко-мягко, как в папиросную бумажечку завернул: — *Только на приём.* — и добавил уже заедливым сорным тоном: — Вы чо не знаете, как релюшка крикат?!

Гурьян с недовольством поглядел на сыновей, будто они во всём виноваты.

— Дак погоди, а... — всё недоумевал Гурьян. — Дак а как ты обратно-то? Чо без лыж?

— Но. По своей дороге прибрёл сюда, слава Богу. Правда, умучился. Вчера как раз. А сёдни туда ездил ишшо.

— Как вчера? А... чо так долго-то?

— Да лежал пластом. — сердито сказал Фёдор. — Спину так скрутило, что не вздохнуть, как грится, не выдохнуть. Видать, продуло у вертолёта.

— Но, продуло... — покладисто и уже даже замороженно кивнул Мефодий.

— Но, — невозмутимо продолжил Федя, — просифонило, пока бродком по корге брёл, не одетый добром, ещё так повернулся неладно, ка-а-ак вступит. Когда залезал, упал короче, за порог-то схватился, а бортмешок этот дёрганный, трап вытаскивал и мне на палец как раз бросил. — Фёдор кивнул на палец. — Сойдёт теперь ноготь.

Гурьян молчал, только часто смаргивал.

— Ну и как у вас охота нынче? — победно сменил ветер Фёдор.

— Да так-то ничо, — неопределённо ответил брат.

— Я почему спрашиваю, — уверенно и обстоятельно заговорил Фёдор. — У меня нынче-то совсем плохо, сам знашь, да ещё, слушай, соболя какой-то хитровыдуманный завёлся — четыре путика обчистил. Че-ты-ре, — он показал на пальцах.

Мефодий с Левонтием буквально подались вперёд лицами.

— Да добро б просто обчистил, а именно *запускает* капканы! Я вообще первый раз такое вижу!

Мефодий с Лёвой так же надвинулись лицами к отцу. Тому не хотелось рассказывать, как из-за него упустили соболя-вредителя, но он себя пересилил и сказал очень медленно, разжёвывая:

— Если бы знал, сколь этот хитровыдуманный нам нервов сжёт.

И вкратце изложил историю, как выхаживал соболя вокруг ёлки, как приехал Мефодий, как уехали в избушку, а собаки ночью бросили соболя.

— Ну ладно, — сказал увесисто и облегчённо Гурьян, — главное нашёлся. Может, с нами поедем, у нас мазь есть для спины. Ну и... — он улыбнулся — бражка подходит! На голубике. Отметим. Слава Богу, как грится.

— Да не, спасибо. Мне отмечать шибко нечего. Я вот тут домой, правда, собираюсь, тогда, может, заскочу... Скажу, короче.

— А чо домой?

— Да надо там... Проведать. Чо-то неспокойно. — он потёр сердце.

Гурьян с сыновьями уехали. Фёдор остался с Пестрей. “Брат, конечно, есть брат, — думал он, — беспокоился. И молодец, что панику не поднял.

И хорошо, что приехал”. Но когда он увидел весь этот аргиз у зимовья, снегоход с нартой, собак — всё аж перевернулось внутри. Настолько не стыковалось оно с пережитым.

Фёдор пытался вернуть утреннее состояние. Вспоминал начало дня. Когда поехал отвозить соль Сохатому в осинник, и первым делом проверил пупок, на котором попала соболюшка. Капканы были рассторожены и именно те, которые он тогда запустил. И оторванную жердушку нашёл под снегом — над ней возвышалась снежная колбаска. И ямки виднелись на месте сохатинных следов...

Гурьян ехал за спиной у Мефодия, а Лёва в нарточке. Примерно в это же время Нефёд ехал по зимнику вдоль Енисея на “камазе”-бензовозе. Брат Иван ехал на раздрыганном “буране” и вёз домой в бочке хрустально-чистую речную воду. А старший брат с посохом в руке тащил на нарточке крепкие листовяжные чурки — серые с рыжими торцами. И врезалась в грудь стёганая ляжка.

К вечеру все завершили дела, добрались каждый до нужного места, и вечер всех успокоил, уладил, уравнил сизой пеленой. Погода стояла тихая. Федя включил рацию, а сам вышел и копался у избушки, разговаривал с Пестрей. Кто-то по рации канючил, что “когда не ловятся соболя, хоть на стену лезь”, вот и маешься, просишь, “чтоб время побыстрей пошло”. Вроде как девать некуда...

— Интересные... Имья побыстрей, — подумал он без укора, — а тут только бы рассчитаться со всеми... Ведь мне... Ведь мне по гроб жизни теперь дела хватит... Но сперва сына увидеть!

Работал аккуратно и вдумчиво, боясь уронить, нарушить чудный и обострившийся строй жизни, а войдя в избушку, разоблачился, всё аккуратно развешав по местам, и неторопливо, сев на нары, снова, дыхнув туманом, протёр ламповое стекло и зажёл лампу. Перед трапезой помолчился. Потом переговорил с братом, чтоб тот (ему ближе) с домом связался, пусть Анфиса переговоры назначит на завтра где-нибудь “днём, когда никто не базланил”. Потом лёг и почувствовал, как налегает расслабленно сон, и с облегчением вековой усталости отдался светлому его наваждению... Сон был целительный, и, погружаясь, Фёдор чувствовал свежую строящую его силу.

Снилось поначалу по мелочи что-то подсобное, близкое — всё кусочками, обрывками, но и сквозь них вздымающая тяга продолжала наполнять душу, а потом вдруг запел ветер в чьём-то пере, засквозили внизу звездовидные кроны лиственей и оказалось, что снова летит Фёдор над тайгой, распластавшись на птичьей спине. И поначалу хорошо и ясно летится им по-над далью, а потом вдруг дрябнет воздух в слабеющих крыльях, и Глухарь поворачивает к Фёдору бородатую голову, глаз цвета кедровой смолы, алую бровь и кричит: “Читай, читай, а то тяга падает!” А Фёдор как ждёт и, глотнув неба, начинает:

*Эх, славно лететь по-над домом на крепнущих крыльях, глядя на землю, что кормит и греет, снаряжает делом по самое горло, даёт сильному окорот, а слабому спасение. Славно хранить нажитое душой в испытаниях и бедах, и учить изболевшее сердце отличать, где добыча, где промысел. Славно набрать на промысел доброго чтения, книг, старинных излистных, в бранях духовных и жизненных пережитых, ибо ничто не укрепляет так душу, как память о предках и их немеркнущих подвигах...*

— Ну что, друг мой пожизненный? Легче тебе!? — спрашивает Фёдор.

— Легче! — гулко отвечает Глухарь и налегает на воздух крылами.

— Тогда поехали!

*Почти все птицы улетали из дому на зиму, бросали его выстывающие своды, утопающие в снегах стены, двери, продутые ветрами. Оставались только поползни, синички, дятлы да кедровки и вóроны — со всей птичьей братии всего десятка два неперелётных. Реденько жили они в этой зимней полутёмной тайге, где и солнце-то светило вполсвета, прибрав фитиль — а что стараться, коли жильцов раз-два и обчёлся. Совы и ястреба́ откочёвывали, не говоря про орлана, а из крупных оставался только глухарь, с двоюродными братьями косачом и рябчиком, да кочевая куропашка. Но если*

даже и косачи пытались кочевать, шарилась по тайге, то Глухарь, облюбовав тундрочку, так и жил на ней до конца дней пристойно, удивляя таёжных граждан хозяйственным строем и мудрым словом, которое он находил для каждой пичуги.

Глухаря, как главного и уважаемого жителя, птичье руководство, улетаю, не раз звало с собой, мол, эти-то дятлы-поползны́, с имя́ ясно, одно слово долбачи, а ты-то птица с понятием. Полетели с нами. Отдохнёшь культурно, перезимируешь по-человечьи. Познакомим с кем надо. Не брезгуй, видишь, предлагаем, значит знаем, чо-ково. Да только смотри, не пожалей потом. Ты поди сказки-то читал, там же чёрным по белому сказано — глухарь со всеми не полетел, один остался, да так пригорюнился, что глаза проплакал, аж брови красные стали!

“Дак это ж сказки, там и глухарь то лентяй, то дурень надутый. И проплакал-то глаза, а покраснели брови почему-то. Так что нестыковочка, хе-хе”...

Глухарь хоть и отшучивался, а на самом деле только мрачнел от таких разговоров и жил себе как жил — за свой счёт, не зарясь на чужое добро и края, а тех, кто весной возвращался, встречал немногословно и без упрёков.

Хотя по молодости был случай: как-то совсем плохо зажили птицы в тайге: воровство, неблагодарность, небрежение к земле и друг к другу — аж крылья жить опускаются. И так рьяно уговаривал его лететь орлан-белохвост, что Глухарь было и полетел. Но едва поднялся, как увидел в повороте сквозящую под крылом тайгу, убелённую первым снежком, реденькую и стройную, так и защемило глухариное сердце, и, описав широкий круг, вернулся он на родную тундрочку, похолодев не от студёного воздуха, а от осознания того, что он чуть было не натворил. И уже точно зная, что если и покраснеют у кого глаза, то не от зависти к улетевшим, а от любви к промороженной, прекрасной и одинокой этой земле. А особенно проявили его синички, которые так же попискивали в ёлке, и так же искренне ему радовались — им и в голову не пришло, куда он полетал.

С тех пор каждую осень в морозный день Глухарь отправлял свою родоу на поседевший галечник добрать на зиму мелких камешков, а сам совершал облёт тайги, чтобы отдать дань памяти тому утру, расставившему всё по местам, и долг небу, наладившему на путь. И каждый раз старался взлететь выше, чтобы охватить взором как можно больше дали и напитать душу простором, которого так не хватает в повседневности. Так и летал он каждый год и уже не представлял осень без этого полёта.

Он поднимался на сопку и садился на самую высокую листвень. И сидел, а волнением озирая простор и думая о трудной и счастливой своей доле, а потом бросался, закрыв глаза и обнимая крылами морозный воздух, в прозрачную даль, и та подхватывала его и дышала, сокращалась, светлой судорогой участвуя в крепнущих этих взмахах-объятьях.

Плоскости ходили мощной и частой чередой. Поначалу Глухарь работал ими без передышки, а потом выходил на походный строй, ходовой режим: уменьшал частоту отмашки и вертикальный ход крыла. Когда взлетал — крылья ходили вверх-вниз глúбоко, а потом укорачивали верхний выброс, потолок замаха и, выпукло изгибаясь, всё больше работали книзу, будто отрагивая воздух, доминиая до какого-то незримого упора и тут же отрывисто отпускаясь, словно боясь пристыть.

Крылья были настолько прекрасны, что воздух, ими умятый, уплотнялся, как снег под лопастью берёзовой лопатки, и твердел от одного прикосновения, чтобы навсегда запомнить их летучую поступь. А крылам казалось, что это родной воздух так немисливо прозрачен и опорист, и что главное — в него верить и себя не жалеть. И на каждом взмахе с нижней оборотной стороны птичьего тела огромные и тугие грудные мышцы сокращались могуче и трепетно, как два слаженных сердца. Прикреплённые к тонкому килю грудины, они длились в крылья и через них ощущали упругую стать неба и не понимали, где заканчиваются пальчато растопыренные маховые перья и где начинается даль, которая так же пальчато входила в окончания крыльев, образуя с ними сквозистый замок. Так и летел над горной восточно-сибирской тайгой Глухарь, и так хорош был союз калёного воздуха и древней праведной птицы, что, крыла её, казалось, набирали смысла с каждым взмахом и оставляли прозрачные оттиски в небе и вечности.